
ХУДОЖНИК ЗЫБКОГО МИРА
КАДЗУО ИСИГУРО
КНИГА ГОДА В БРИТАНИИ, ОБЛАДАТЕЛЬ УИТБРЕДОВСКОЙ ПРЕМИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР ЧИТАЕТ ВЕСЬ МИР

Художник зыбкого мира
Кадзуо Исигуро

Аннотация
Кадзуо Исигуро. Художник зыбкого мира
Октябрь, 1948
Апрель, 1949
Ноябрь, 1949
Июнь, 1950

Аннотация

Впервые на русском — второй роман знаменитого выпускника литературного семинара Малькольма Брэдбери, урожденного японца, лаурета Букеровской премии за свой третий роман «Остаток дня». Но уже «Художник зыбкого мира» попал в Букеровский шортлист.

Герой этой книги — один из самых знаменитых живописцев довоенной Японии, тихо доживающий свои дни и мечтающий лишь удачного выдать замуж дочку. Но в воспоминаниях он по-прежнему там, в веселых кварталах старого Токио, в зыбком, сумеречном мире приглушенных страстей, дискуссий о красоте и потаенных удовольствий.

Кадзуо Исигуро
Художник зыбкого мира

Моим родителям

Октябрь, 1948

Если в солнечный день подняться по крутой тропинке, ведущей на вершину холма от небольшого деревянного мостика, который тут по-прежнему зовется Мост Сомнений, то вскоре между вершинами двух огромных гинкго завиднеется крыша моего дома. Но даже если бы этот дом и не занимал командной высоты, его все равно невозможно было бы не заметить; он так сильно отличается от остальных, что вам при виде его почти наверняка пришла бы в голову мысль: что за богач им владеет?

Но я вовсе не богач и никогда им не был. Возможно, вы догадаетесь, отчего у этого дома столь импозантный вид, если я признаюсь, что построил его не я, а мой предшественник, а это был не кто иной, как Акира Сугимура. Конечно, если вы прежде в нашем городе не бывали, имя это вам ничего не скажет. Но назовите его любому, кто жил здесь до войны, и сразу узнаете, что лет тридцать назад Сугимура был, несомненно, одним из самых уважаемых и влиятельных людей города.

Итак, вы стоите на вершине холма, любуетесь

прекрасными кедровыми воротами, просторным садом с оградой, элегантной крышей, крытой черепицей и украшенной стилизованным резным коньком, словно указывающим на дивный пейзаж вокруг. И в голове у вас, скорее всего, зреет вполне закономерный вопрос: как же все-таки этому типу удалось приобрести такой роскошный дом, если, по его же собственным словам, средствами он располагает весьма умеренными? Скажу честно: я купил этот дом, так сказать, по номинальной цене; сумма, которую я заплатил, по всей видимости, не составляла и половины его реальной тогдашней стоимости. А возможным это стало благодаря довольно странной — кое-кто, пожалуй, может назвать ее и дурацкой — процедуре, которой семейство Сугимура обставило продажу дома.

С тех пор прошло уже лет пятнадцать. Тогда дела мои как раз шли в гору, благосостояние нашей семьи улучшалось чуть ли не с каждым месяцем, и жена стала давить на меня, требуя подыскать нам новый дом. Со свойственной ей прозорливостью она в два счета доказала мне, почему так важно, чтобы у нас был дом, в полной мере соответствующий нашему теперешнему положению: дело тут не в тщеславии, а в том, что это

будет важно, когда придет время выдавать замуж наших дочерей. Я понимал, что определенный смысл в ее аргументах есть, но поскольку Сэцуко, нашей старшей дочке, было всего четырнадцать или пятнадцать, я как-то не считал это дело особо срочным. Тем не менее целый год я прилежно наводил справки, стоило мне услышать о продаже подходящего дома. И тут один из моих учеников обратил мое внимание на то, что продается дом Акиры Сугимуры, который вот уже год как умер. Мне показалась совершенно нелепой сама мысль о том, что я способен купить такой дом, и я отнес ее на счет того преувеличенного уважения, какое всегда испытывали ко мне мои ученики. Но справки я все же навел и получил совершенно неожиданный ответ.

В один прекрасный день ко мне явились с визитом две седовласые дамы весьма надменного вида, оказавшиеся дочерьми Акиры Сугимуры. Когда я выразил свое изумление по поводу столь благосклонного внимания к моей персоне со стороны этого выдающегося семейства, старшая из сестер довольно холодно сообщила мне, что дело тут отнюдь не в простой вежливости. В течение предшествующих месяцев, сказала она, очень многие интересовались домом их покойного

отца, но семья решила в конце концов отказать всем потенциальным покупателям, кроме четверых, тщательнейшим образом отобранных как на основе особой добродетельности претендента, так и тех достижений, которых ему удалось добиться в жизни.

— Для нас представляет первостепенную важность, — продолжала она, — чтобы дом, построенный нашим отцом, перешел к человеку, которого он сам бы одобрил и счел достойным такого владения. Разумеется, обстоятельства вынуждают нас учитывать и финансовую сторону дела, но это далеко не главное. А потому мы назначили цену…

И тут младшая из сестер, которая до сих пор, можно сказать, не проронила ни слова, протянула мне конверт, и обе с суровыми лицами стали следить за тем, как я его открываю. Внутри был один-единственный чистый лист бумаги, в центре которого была элегантно выведена кисточкой цена. Я уже собрался выразить свое изумление по поводу столь низкой суммы, но по лицам сестер понял, что дальнейшее обсуждение финансовых вопросов будет сочтено бестактным. Старшая, впрочем, пояснила:

— Отнюдь не в интересах любого из вас, чет-

верых, пытаться перебить цену. Мы не заинтересованы в том, чтобы получить что-то свыше указанной суммы. Но все же намерены устроить еще один отборочный этап: аукцион репутаций.

И она объяснила, почему они лично явились ко мне: они желали официально, от лица всего семейства, выяснить, готов ли я подвергнуться — наряду с тремя другими претендентами, разумеется, — дотошному расследованию моего прошлого: происхождения, образования, квалификации и мнения обо мне людей, достойных всяческого доверия. Только так, сказала пожилая дама, семья сможет выбрать подходящего покупателя.

Весьма странная процедура, но я не находил в ней ничего особенно отталкивающего; в конце концов, это примерно то же самое, что деятельность сторон, предшествующая заключению брачного контракта. Честно говоря, мне, пожалуй, даже льстило то, что такая старинная, следующая традициям семья сочла меня достойным кандидатом. Когда я дал согласие на проведение подобного расследования и выразил сестрам свою признательность, младшая из них впервые обратилась прямо ко мне.

— Господин Оно, наш отец был человеком высо-

кообразованным, — сказала она. — И с большим уважением относился к художникам. Естественно, он хорошо знал и ваши работы.

А через несколько дней после визита сестер Сугимура я и сам решил кое-что выяснить и узнал, что младшая из них говорила чистую правду: Акира Сугимура действительно был большим поклонником живописи и не раз предоставлял художественным выставкам материальную поддержку. А еще дошли до меня любопытные слухи: похоже, большая часть семейства Сугимура дом продавать вовсе не хотела, и в семье шли жестокие споры. Но в конце концов финансовые проблемы сделали продажу дома неизбежной, и странная процедура, связанная с передачей дома другому владельцу, явилась следствием компромисса, достигнутого противоборствующими сторонами. Бесспорно, все это явно отдавало чрезмерным высокомерием; но что до меня, то я готов был с должным пониманием отнестись к чувствам семьи со столь выдающимся прошлым. А вот жену мою идея подобного расследования отнюдь не обрадовала.

— Да кто они такие, в конце концов? — возмущалась она. — Нет, тебе следовало сказать, что мы не желаем иметь с ними никаких дел!

— Да что тут такого особенного? — успокаивал я ее. — Нам от них абсолютно нечего скрывать. Происхождение у меня самое обыкновенное, состояния никогда не было — впрочем, все это семейству Сугимура наверняка и так уже известно. И тем не менее они почему-то сочли нас подходящими кандидатами, верно? Вот и пусть себе дальше копают. Если что и найдут, так это нам же на пользу и пойдет. Во всяком случае, — особо подчеркнул я, — они не переходят границ обычного расследования, которое ведется, скажем, перед заключением брачного контракта. Нам, дорогая, пора уже привыкать к подобным вещам.

Меня, пожалуй, отчасти даже восхищала сама идея «аукциона репутаций», как это назвала старшая из дочерей Сугимуры. Даже странно, почему подобные аукционы не устраиваются регулярно. Насколько благороднее состязание претендентов, когда на всеобщее обозрение выставлены их высокая моральность и духовные достижения, а не размеры кошелька. Я до сих пор помню, какое глубокое удовлетворение испытал, узнав, что именно меня семейство Сугимура — после тщательнейшего расследования! — сочло наиболее достойным, чтобы купить тот дом, который так им дорог. И конечно же, дом этот

стоил того, чтобы ради него немного потерпеть; помимо чисто внешней красоты и импозантности он отличался изысканным интерьером и был отделан лучшими сортами дерева, замечательно подобранными в соответствии с естественной красотой древесных волокон. И впоследствии все мы единодушно пришли к выводу, что лучшего места для отдыха и покоя не сыскать.

Однако высокомерие семейства Сугимура действительно отчетливо ощущалось в течение всей официальной процедуры оформления купли-продажи, а некоторые члены семьи даже не пытались скрыть своего враждебного к нам отношения, и, возможно, покупатель менее понятливый и терпеливый давно бы уже обиделся и плюнул на все. Даже по прошествии множества лет, случайно встретившись с кем-то из членов этого семейства на улице, в ответ на вежливое приветствие я натыкался на настоящий допрос: в каком состоянии сейчас дом и какие перемены я осмелился в нем произвести.

Теперь о семье Сугимура редко что услышишь. А вот вскоре после капитуляции ко мне как-то заглянула младшая из сестер, занимавшихся продажей дома. Годы войны превратили ее в тощую болезненную старуху. Что весьма характерно для

всех Сугимура, она даже не особенно и скрывала, что ее интересует исключительно то, как дом — а отнюдь не его обитатели! — пережил войну; она лишь весьма кратко выразила мне соболезнование, услышав о смерти моей жены и Кэндзи, и сразу перешла к теме ущерба, нанесенного бомбежками дому. Надо сказать, ее поведение отнюдь не вызвало у меня добрых чувств. Но затем я случайно заметил, с каким жадным любопытством блуждает по комнате ее взгляд, как она вдруг умолкает посреди какой-нибудь тщательно подготовленной и в высшей степени официальной фразы, буквально захлебываясь от переполняющих ее чувств, вызванных тем, что она вновь оказалась в своем старом доме. А когда я сообразил, что большая часть ее родственников с момента торгов уже переселились в мир иной, я почувствовал к ней жалость и предложил ей осмотреть дом.

Дом, разумеется, тоже пострадал от войны. Акира Сугимура пристроил к нему когда-то восточное крыло — три большие комнаты, соединенные с основным зданием коридором, проходившим через сад. Этот коридор просто поражал своей длиной, и некоторые предполагали, что Сугимура специально построил его таким длинным, чтобы,

поселив в восточном крыле своих родителей, держать их подальше от себя. Впрочем, коридор этот, густо обсаженный кустами, обладал особой прелестью: в полдень на полу его всегда лежали, прихотливо переплетаясь, полосы света и тени, отбрасываемые листвой, и возникало ощущение, что идешь по заросшей садовой дорожке, превратившейся в зеленый тоннель. Так вот, от бомбежек пострадала в основном именно эта часть дома, и, когда мы осматривали ее со стороны сада, я видел, что госпожа Сугимура едва сдерживает слезы. К этому времени раздражение мое, вызванное поведением этой высокомерной старухи, уже улеглось, и я, как умел, успокаивал ее, заверяя, что при первой же возможности устраню все разрушения и дом вновь станет таким же, как и при ее отце.

Обещая ей это, я и представить себе не мог, как долго еще после капитуляции продлятся разнообразные трудности со снабжением. Приходилось порой неделями ждать, когда тебе привезут какую-нибудь одну доску или немного гвоздей. И если мне что-то все же удавалось сделать при подобных обстоятельствах, то, разумеется, в основной части дома — она тоже, к сожалению, пострадала, — а потому восстановление восточ-

ного крыла и коридора, тянущегося через весь сад, продвигалось крайне медленно. Я, правда, постарался сделать все, чтобы избежать дальнейших разрушений, но мы и сейчас еще весьма далеки от того, чтобы снова открыть эту часть дома. Кроме того, теперь, когда мы с Норико остались вдвоем, нам, похоже, и ни к чему так уж расширять жизненное пространство.

Если я сегодня проведу вас в глубь дома и отодвину в сторону тяжелый щит, скрывающий вход в полуразрушенный коридор, некогда построенный Сугимурой, вы, вероятно, все же получите какое-то впечатление о том, сколь живописен он был когда-то. Но, несомненно, заметите и паутину, и плесень, с которыми я не в состоянии постоянно бороться; увидите и огромные дыры в потолке, затянутые кусками брезента. Порой ранним утром я, отодвинув щит, пробирался в коридор и смотрел, как в тоненьких солнечных лучах, пробивающихся сквозь щели и дырочки в брезенте, пляшет пыль, будто потолок в коридоре обрушился только что.

Но если больше всего пострадали коридор и восточное крыло, то и нашей любимой веранде бомбежки тоже нанесли существенный ущерб. Все мы, особенно мои дочери, эту веранду все-

гда просто обожали; нам нравилось сидеть там, неспешно беседовать, любоваться садом, и когда Сэцуко, моя старшая, замужняя дочь, впервые после капитуляции приехала навестить нас, не было ничего удивительного в том, что она страшно расстроилась, увидев, в каком состоянии веранда. Я, правда, уже успел устранить самые страшные повреждения, но все равно треснувшие во время взрыва доски пола торчали горбом, а крыша сильно протекала, и в дождливые дни приходилось подставлять под струйки тазики.

Впрочем, за минувший год я сумел значительно продвинуться в ремонтных работах, и когда месяц назад Сэцуко вновь приехала к нам, веранда была уже почти полностью восстановлена. Норико по случаю приезда сестры взяла на работе отгулы, и, поскольку стояла хорошая погода, дочери мои, как когда-то в юности, большую часть времени проводили на веранде. Да и я нередко к ним присоединялся, и все было почти как прежде, как в те годы, когда мы всей семьей сиживали там в солнечные дни, ведя неторопливую, порой праздную беседу.

Вот так с месяц назад — кажется, в первое же утро после приезда Сэцуко, — мы сидели после завтрака на веранде, и Норико сказала:

— Я так рада, что ты наконец приехала! Хоть немного снимешь с меня заботы о папе.

— Ты что, Норико… — И моя старшая дочь беспокойно заерзала на футоне.

— Да-да! После того как папа вышел на пенсию, ему требуется гораздо больше заботы, — продолжала Норико с коварной улыбкой. — Его нужно постоянно чем-нибудь занимать, иначе он сразу начинает хандрить.

— Ну что ты в самом деле!.. — Сэцуко нервно улыбнулась, вздохнула и, отвернувшись, посмотрела в сад. — А клен, похоже, совсем оправился. Он просто прекрасен!

— Наша Сэцуко, наверно, даже представить себе не может, папа, каким ты стал теперь! — не унималась Норико. — Она помнит только те времена, когда ты, как истинный тиран, только и делал, что всем приказывал. Теперь-то ты стал куда мягче, верно?

Я засмеялся, чтобы показать Сэцуко, что мы всего лишь шутим, но моей старшей дочери от этих шуток явно стало не по себе. А Норико, вновь повернувшись к сестре, еще и прибавила:

— Но постоянное внимание папе совершенно необходимо, иначе он так и будет весь день слоняться по дому и хандрить.

— Она, как всегда, несет чепуху, — вмешался я. — Если я действительно целый день слоняюсь по дому и хандрю, то кто сделал весь этот ремонт?

— Действительно, — сказала Сэцуко и с улыбкой повернулась ко мне: — Дом выглядит просто великолепно! Тебе, папа, должно быть, пришлось немало потрудиться.

— Ничего, для самых тяжелых работ папа людей нанял, — заявила Норико. — Ты, похоже, не веришь мне, Сэцуко? Честное слово, наш папа теперь очень изменился! И его уже не нужно бояться. Он стал таким ласковым, почти ручным…

— Норико, пожалуйста…

— Папа даже еду иногда готовит! Вот уж чему ты никогда бы не поверила, да? Но это чистая правда, и с каждым разом папа готовит все лучше и лучше.

— Норико, по-моему, пора оставить эту тему, — тихо сказала Сэцуко.

— Нет, скажи, папа? Ты ведь и вправду делаешь огромные успехи.

Я улыбнулся и устало покачал головой. Именно тогда, насколько я помню, Норико сказала, повернувшись лицом к саду и прикрыв глаза от солнца:

— Что ж, папа ведь не может рассчитывать

на то, что я так и буду без конца бегать сюда и готовить ему еду, когда выйду замуж. У меня и так забот будет хватать.

После этих ее слов Сэцуко, до сих пор задумчиво смотревшая в сад, повернулась, бросила на меня вопросительный взгляд и тут же снова отвела глаза, чтобы успеть улыбнуться Норико. Однако я почувствовал, что ей еще больше стало не по себе, и она, по-моему, даже обрадовалась, когда ее сынишка, стремительно пробегавший мимо нас по веранде, дал ей возможность сменить тему разговора.

— Итиро, успокойся, пожалуйста! — крикнула она мальчику вслед.

После жизни в современной квартире своих родителей Итиро пребывал в полном восторге от нашего старого просторного дома. Во всяком случае, он отнюдь не разделял нашего пристрастия к сидению на веранде; куда больше ему нравилось стремглав пролетать мимо нас, оскальзываясь порой на натертом полу, как на льду. Несколько раз он с разгону так здорово проехался по гладким доскам, что лишь чудом умудрился не перевернуть чайный столик, однако просьбы матери посидеть спокойно пока что особого успеха не имели. Вот и на этот раз, когда Сэцуко предложи-

ла ему немного посидеть с нами, он насупился и остался стоять в углу.

— Иди сюда, Итиро, — позвал я внука. — Мне уже до смерти надоело беседовать с одними только женщинами. Иди и садись со мною рядом. Нам надо поговорить о чисто мужских вещах.

И он, конечно, тут же подошел. Принес футон, положил его рядом со мной и уселся с самым достойным видом, положив руки на бедра и расправив плечи.

— Слушай, дед, — он сурово посмотрел на меня, — у меня к тебе вопрос.

— Да, Итиро, в чем дело?

— Я хочу спросить о том чудовище.

— О каком чудовище?

— Оно что, доисторическое?

— Доисторическое чудовище? Какие трудные слова ты уже знаешь! Должно быть, ты очень умный мальчик.

Услышав эту похвалу, Итиро, похоже, забыл о необходимости блюсти достоинство и, рухнув на спину, принялся беспечно помахивать в воздухе ногой.

— Итиро! — услышал я напряженный шепот Сэцуко. — До чего же отвратительно ты себя ведешь! Да еще в присутствии дедушки! Сядь

немедленно!

Но Итиро словно не слышал ее, хотя ногой все же махать в воздухе перестал, бессильно уронив ее на пол. Затем он скрестил руки на груди, закрыл глаза и некоторое время молчал.

— Скажи, дед, — пробормотал он чуть погодя весьма сонным голосом, — это все-таки доисторическое чудовище или нет?

— Какое чудовище ты имеешь в виду, Итиро?

— Пожалуйста, прости его, папа, — поспешно сказала Сэцуко, нервно улыбаясь. — Возле железнодорожной станции вчера он увидел рекламу какого-то фильма и совершенно сбил с толку водителя такси своими бесчисленными вопросами. А сама я, к сожалению, эту рекламу разглядеть не успела.

— Дед, что же ты не отвечаешь? Это доисторическое чудовище или нет?

— Итиро! — Мать посмотрела на него «ужасными» глазами.

— Ну, сказать наверняка я вряд ли смогу. По-моему, Итиро, нам надо посмотреть этот фильм, а тогда уж все и выяснить.

— А когда мы его посмотрим?

— Хм… Это ты лучше у мамы спроси. Вдруг он слишком страшный и не годится для маленьких

детей.

Вот уж никак не думал, что мои слова могут вызвать такую бурю чувств! Мой внук прямо-таки с невероятной быстротой снова уселся в прежней, горделивой позе и, гневно сверкая глазами, возмущенно воскликнул:

— Как ты посмел! Как ты мог такое сказать?

— Итиро! — Сэцуко была в отчаянии. Но Итиро продолжал испепелять меня взором, и ей пришлось встать и подойти к нему. — Итиро! — прошипела она зловещим шепотом и сильно тряхнула его за руку. — Не смей так смотреть на дедушку!

Вместо ответа Итиро снова рухнул на спину и принялся махать в воздухе ногой. А Сэцуко снова нервно улыбнулась мне и сказала:

— Совершенно невоспитанный ребенок! — И, не зная, что прибавить, улыбнулась мне еще раз.

— Итиро-сан, ты не хочешь помочь мне убрать после завтрака со стола? — предложила мальчику Норико, поднимаясь с футона.

— Убирать со стола — женская работа! — заявил мой внук, продолжая помахивать ногой.

— Значит, ты мне не поможешь? Ладно, хотя одной мне, конечно, трудно придется. Ведь стол вон какой тяжелый! Вряд ли у меня хватит сил

самостоятельно его отодвинуть. Кого же мне попросить помочь, а?

Итиро, разумеется, тут же вскочил и, не глядя на нас, помчался в глубь дома. Норико рассмеялась и последовала за ним.

Сэцуко посмотрела им вслед, затем взяла чайник и налила мне еще чаю.

— Я и не думала, что все так далеко зашло, — сказала она, понизив голос — Я имею в виду переговоры насчет замужества Норико.

— Ничего никуда не зашло, — возразил я, качая головой. — Если честно, ничего еще не решено. Мы пока только в самом начале пути.

— Извини, но, судя по тому, что сказала Норико всего несколько минут назад, я, естественно, предположила, что все более-менее… — Сэцуко сбилась, помолчала, еще раз извинилась, но таким тоном, что в воздухе явственно повис некий вопрос.

— Видишь ли, Норико уже не в первый раз заводит подобные разговоры, — сказал я. — Честно говоря, она вообще довольно странно ведет себя — с тех пор, как начались эти новые переговоры. На прошлой неделе к нам заходил господин Мори — ты помнишь его?

— Конечно. Как он?

— Неплохо. Он просто проходил мимо и решил на минутку зайти и поздороваться. И представляешь, Норико немедленно затеяла при нем разговор о своем предстоящем браке! Она вела себя так, словно все давно уже решено! Это было так неловко! Господин Мори даже поздравил меня перед уходом и спросил, чем занимается ее жених.

— Да уж! — задумчиво сказала Сэцуко. — Это и впрямь должно быть очень неловко.

— И господина Мори вряд ли можно в чем-то винить. Да ты и сама только что слышала ее речи. А что мог подумать посторонний человек?

Дочь не ответила, и мы некоторое время сидели молча. Один раз я глянул на нее — Сэцуко смотрела в сад, крепко сжимая чашку обеими руками и словно забыв о ней. И я в очередной раз поймал себя на том — возможно, просто свет так падал, — что изучаю дочь с точки зрения перемен в ее внешности. Ибо Сэцуко, несомненно, с годами становилась все привлекательнее. Когда-то мы с ее матерью даже беспокоились из-за того, что уж больно она простенькая и вряд ли с такой внешностью ей удастся выйти замуж. А в раннем детстве Сэцуко и вовсе походила на мальчишку, да и в отрочестве, пожалуй, тоже, и постепенно

черты ее становились все более мужеподобными, так что, когда мои дочери ссорились, Норико всегда запросто могла одержать верх над старшей сестрой, стоило ей крикнуть: «Мальчишка! Мальчишка!» Кто знает, какое воздействие подобные вещи оказывают на личность человека? И ничего удивительного, конечно, нет в том, что Норико выросла такой своевольной и упрямой, а Сэцуко — такой скромной и уступчивой. Но теперь, на пороге тридцатилетия, во внешности Сэцуко появилось некое, весьма ощутимое, достоинство. Помнится, и жена моя это предсказывала, часто говоря: «Наша Сэцуко расцветет в летнюю пору». Я тогда считал, что она просто себя утешает, но потом — и особенно в последний приезд Сэцуко к нам месяц назад — я несколько раз ловил себя на мысли о том, сколь точным оказалось это материнское предвидение.

Сэцуко, словно очнувшись от собственных мыслей, снова посмотрела в глубь дома и сказала:

— Мне кажется, то, что случилось в прошлом году, принесло Норико много горя. Возможно, значительно больше, чем мы могли себе представить.

Я вздохнул и кивнул.

— Да, ты, возможно, права. И мне, конечно, сле-

довало быть к ней тогда более внимательным.

— Что ты, папа! Я уверена: ты сделал все, что в твоих силах. Просто такие вещи всегда — страшный удар для женщины.

— Признаюсь, мне порой казалось, что Норико немного притворяется — знаешь ведь, твоя сестрица любит устраивать спектакли. Она все твердила, мол, это брак по любви, а когда все развалилось, ей пришлось вести себя соответствующим образом. Хотя, возможно, не все в ее тогдашнем поведении было притворством.

— Мы тогда посмеивались, — согласилась Сэцуко, — но, может, это и правда была любовь?

Мы опять помолчали. Из недр дома доносился голос Итиро, который без конца что-то громко повторял.

— Извини, папа, — тихо сказала Сэцуко с какой-то странной интонацией, — но разве мы хоть раз услышали нормальное объяснение того, почему, собственно, провалились прошлогодние переговоры? Все это произошло так неожиданно…

— Понятия не имею, почему это произошло! Впрочем, вряд ли теперь это имеет значение, верно?

— Да, конечно. Извини, папа. — Сэцуко, казалось, что-то обдумывает. Потом она пояснила:

— Видишь ли, Суйти время от времени довольно настойчиво расспрашивает меня о том, что же все-таки произошло в прошлом году и почему семейство Миякэ столь внезапно вышло из игры. — Она едва заметно усмехнулась. — Суйти, похоже, убежден, что мы знаем, в чем тут дело, но скрываем от него. Мне постоянно приходится доказывать ему, что я и сама ничего толком не знаю.

— Уверяю тебя, — холодно заметил я, — это и для меня тоже тайна. Я бы не стал скрывать от тебя и Суйти, если б хоть что-то знал.

— Ну, естественно! Прости меня, пожалуйста! Я вовсе не хотела ни на что намекать… — И Сэцуко снова неловко умолкла.

Я, возможно, был немного резковат с нею в то утро, но Сэцуко уже не в первый раз допытывалась у меня, что же произошло в прошлом году, когда семейство Миякэ вдруг пошло на попятную. Странно, почему ей кажется, что я что-то утаиваю от нее? Если у семейства Миякэ и была какая-то особая причина для подобного разрыва отношений, то они явно не собирались мне о ней докладывать.

Моя же собственная догадка заключается в том, что тут гадать особенно и не о чем. Правда, их

отступление в самый последний момент было крайне неожиданным, но почему обязательно следует видеть в нем нечто чрезвычайное? Интуиция мне подсказывает: причина тут всего лишь в нашем различном общественном положении. А в семье Миякэ, насколько я успел их узнать, все принадлежат к тем гордым и честным людям, которых коробит от мысли о том, что их сын намерен жениться на девушке более высокой породы. Честно говоря, еще несколько лет назад они, наверное, гораздо раньше прекратили бы с нами всякие отношения, но их сбили с толку все эти разговоры о «браке по любви» и прочие новомодные веяния. Не сомневаюсь, это объяснение соответствует истине; случившееся вряд ли имеет более глубокие корни.

Возможно также, семейство Миякэ смутило столь очевидное одобрение с моей стороны. И мое весьма пренебрежительное отношение к проблеме социальных различий. Да и не в моих привычках обращать внимание на подобные вещи. По правде сказать, я и своим-то общественным статусом никогда не интересовался; я даже и теперь часто удивляюсь, когда какое-нибудь событие или чье-то высказывание напоминают мне о том, что я занимаю в обществе довольно-таки

высокое положение. Например, не далее как вчера я посетил наш старый «веселый квартал», и мы с Синтаро выпивали в баре госпожи Каваками, где — как это теперь все чаще случается — оказались единственными посетителями. Мы, как всегда, устроились на высоких табуретах за стойкой, беседуя с госпожой Каваками, и, поскольку в течение нескольких часов никого больше в баре так и не появилось, беседа наша постепенно приобретала все более доверительный характер. И вот, когда госпожа Каваками, рассказывая о каком-то своем родственнике, пожаловалась, что сей достойный молодой человек никак не может найти работу, Синтаро вдруг воскликнул:

— Ну так вам следовало послать его прямо к сэнсэю, Обасан! Сэнсэю достаточно замолвить о нем словечко в нужном месте — и ваш родственник тут же получит хорошую работу.

— Что ты несешь, Синтаро? — запротестовал я. — Я же на пенсии! И никаких связей у меня больше не осталось.

— Любая рекомендация от такого уважаемого человека, как вы, сэнсэй, незамедлительно вызовет к себе внимание, — стоял на своем Синтаро. — Пошлите вашего молодого человека к сэнсэю, Обасан.

Я сперва даже немного растерялся; меня ошеломила убежденность Синтаро в моем могуществе. Но потом я сообразил, что он в очередной раз вспомнил о том маленьком «подвиге», много лет назад совершенном мною ради его младшего брата.

Было это, должно быть, году в тридцать пятом или тридцать шестом; по просьбе Синтаро я написал самое заурядное рекомендательное письмо одному моему знакомому из Министерства иностранных дел. Вскоре я наверняка благополучно забыл бы об этом, но однажды, когда я среди дня прилег отдохнуть в своей комнате, жена вдруг сообщила, что ко мне пришли двое молодых людей и стоят на пороге.

— Пожалуйста, пригласи их в дом, — сказал я.

— Но они не хотят входить и упорно твердят, что не смеют беспокоить тебя своим присутствием в доме.

Я встал и вышел на крыльцо; там стояли Синтаро и его младший брат — тогда он был совсем еще юнцом. Увидев меня, они тут же принялись кланяться и нервно хихикать.

— Пожалуйста, проходите в дом, — пригласил их я, но они все продолжали кланяться и оставались на месте. — Синтаро, прошу тебя,

поднимайся, бери футон и садись.

Нет, сэнсэй, — отвечал Синтаро, улыбаясь и кланяясь, — мы и так проявили верх неучтивости, придя сюда. Да, это настоящее нахальство, но у нас просто не было сил терпеть — так хотелось поблагодарить вас, сэнсэй!

— Да входите же! Сэцуко уже, наверное, чай нам готовит.

— Нет, сэнсэй. Мы позволили себе слишком наглый поступок. Правда, сэнсэй. — И Синтаро, повернувшись к брату, быстро шепнул: — Ну, что же ты, Ёсио!

Его братец наконец перестал кланяться и нервно на меня глянул, а потом провозгласил:

— Я до конца своей жизни буду вам благодарен, сэнсэй! Каждой клеточкой своего существа я постараюсь оправдать вашу высокую рекомендацию. Клянусь, я не посрамлю вас! Я буду трудиться изо всех сил и добьюсь похвалы своего начальства. Но как бы высоко я в будущем ни поднялся, я никогда не забуду человека, давшего мне возможность ступить на первую ступеньку и начать собственную карьеру!

— Но это, право же, такой пустяк! Вы этой работы вполне достойны.

Мои слова вызвали у обоих яростный протест,

и Синтаро сказал брату:

— Довольно, Ёсио. Мы и так отняли у сэнсэя слишком много времени. Но прежде, чем мы уйдем, еще раз хорошенько посмотри на человека, который так помог тебе. Нам очень повезло, что у нас такой влиятельный и щедрый покровитель.

— Да, да, правда, — пролепетал его юный брат, не сводя с меня глаз.

— Синтаро, прошу тебя, перестань! Это, наконец, просто нелепо. Пожалуйста, пройдите в дом, и мы отметим это событие, выпьем сакэ…

— Нет, сэнсэй, нам пора и честь знать. Нужно же наконец оставить вас в покое! Мы и без того вели себя нагло, явившись сюда без приглашения и нарушив ваш полуденный отдых. Но желание поблагодарить вас было столь велико, что мы не смогли отложить его ни на минуту.

Их визит, должен признаться, оставил у меня некое приятное ощущение, что кое-чего мне удалось добиться. Это был один из тех редких моментов в нашей вечно занятой и суетной жизни, которая не дает возможности остановиться и оценить сделанное, когда перед тобой внезапно как бы высвечивается весь пройденный путь. А в данном случае я действительно, почти не задумываясь, помог неизвестному молодому

человеку подняться на первую ступень отличной карьеры. Еще несколько лет назад это было бы невообразимым, а теперь, оказывается, я достиг, сам того не заметив, столь высокого положения в обществе, что без малейших усилий оказываю подобные услуги.

И все-таки вчера в заведении госпожи Каваками я сказал Синтаро:

— С тех пор слишком многое изменилось. Я теперь на пенсии, какие уж у меня связи!

С другой стороны, я понимал, что Синтаро, возможно, не так уж и заблуждается на мой счет. Реши я это проверить — и, возможно, мне снова пришлось бы удивляться широте собственного влияния. Как я уже говорил, я никогда не представлял себе четко своего положения в обществе.

Если даже Синтаро и проявляет иной раз некоторую наивность в определенных вопросах, в этом нет, во всяком случае, ничего недостойного; сейчас так редко можно найти человека, не отравленного цинизмом и горечью. Нечто обнадеживающее есть все-таки в том, что, заглянув к госпоже Каваками, можно увидеть там Синтаро, сидящего у стойки и рассеянно крутящего в руках шапку — в точности, как и в любой из вечеров за последние семнадцать лет. И кажется, что для

Синтаро ничто вокруг не изменилось за эти годы. Он все так же вежливо здоровается со мной, словно и до сих пор является моим учеником, и весь вечер, как бы сильно он ни напился, держится в высшей степени учтиво и называет меня исключительно «сэнсэй». Иногда он с жаром неофита даже принимается задавать мне вопросы относительно, скажем, техники или стиля того или иного художника, но истина, увы, заключается в том, что Синтаро давно уже не имеет никакого отношения к настоящему искусству. Несколько лет назад он вплотную занялся иллюстрированием книг, а теперь, насколько я знаю, рисует эскизы пожарных машин. Он целыми днями неустанно трудится в своей мансарде, делая один набросок за другим, но по вечерам, наверное, да еще после нескольких рюмок ему приятно думать, что он — все тот же юный художник-идеалист, который когда-то был самым первым моим учеником.

Детские свойства Синтаро нередко давали повод госпоже Каваками подшучивать над ним — была в ее характере этакая стервозность. Недавно, например, во время сильного дождя Синтаро вбежал к ней в бар и принялся выжимать насквозь промокшую шапку прямо над ковриком, лежащим у двери.

— Как вы себя ведете, Синтаро-сан! — прикрикнула на него госпожа Каваками. — Что за ужасные манеры!

На лице Синтаро тут же отразилось такое огорчение, словно он и впрямь совершил нечто ужасное, и он принялся горячо извиняться, чем только подогрел нарочитую язвительность госпожи Каваками.

— Никогда ничего подобного не видела! — продолжала громко возмущаться она. — Да вы, Синтаро-сан, похоже, ничуть меня не уважаете.

— Довольно, Обасан, хватит с него, — попытался я остановить ее. — Скажите ему, что вы просто пошутили.

— Какие уж тут шутки! Разве можно так вести себя?

И она в итоге довела Синтаро до того, что на него стало жалко смотреть. А в другой раз, бывает, Синтаро абсолютно не сомневается, что над ним просто подшучивают, хотя на самом деле с ним говорят совершенно серьезно. Однажды он поставил госпожу Каваками в весьма неприятное положение, принявшись во всеуслышание рассказывать о каком-то генерале, которого только что казнили как военного преступника:

— Я всегда, с самого детства, восхищался этим

человеком! Интересно, чем он занимается сейчас? На пенсии, наверное?

Как назло в кафе в тот вечер было несколько новых посетителей, и они весьма неодобрительно поглядывали на Синтаро. Госпожа Каваками, озабоченная репутацией своего заведения, подошла к Синтаро и тихо сообщила ему о судьбе, постигшей этого генерала. В ответ Синтаро рассмеялся и громко воскликнул:

— Ну, знаете, Обасан, некоторые из ваших шуток уж действительно чересчур!

Невежество Синтаро в таких вопросах зачастую просто поражает, но, как я уже сказал, я не вижу в этом ничего унижающего достоинство и полагаю, что следует быть благодарными за то, что на свете еще существуют люди, не зараженные современным цинизмом. Возможно, именно эти качества Синтаро — ощущение того, что он каким-то чудом сумел сохраниться в этом мире, — и делают для меня его общество, особенно в последние годы, все более и более желанным.

Что же до госпожи Каваками, то хоть она и очень старается не попадать под власть нынешнего настроения, но все же сильно сдала за эти несколько военных лет. Перед войной ее еще вполне можно было назвать молодой женщиной,

но с тех пор в ней словно что-то сломалось. А если вспомнить, скольких она потеряла на войне, то и удивляться нечему. Да и вести дела ей становится все труднее; ей и самой, должно быть, трудно поверить, что вокруг — тот самый район, где она впервые, лет семнадцать назад, открыла свое крошечное кафе. Ибо от нашего старого «веселого квартала» уже почти ничего не осталось; большая часть прежних конкурентов госпожи Каваками закрыли свои заведения или переехали в другие районы города, да и сама она не раз поговаривала, а не поступить ли и ей так же.

Когда ее бар еще только открылся, его со всех сторон так и теснили разнообразные кафе и закусочные, и я хорошо помню, как некоторые сомневались, что ей удастся тут долго продержаться. Тогда по узким улочкам «веселого квартала» с трудом можно было протиснуться, не задевая бесконечные полотняные вывески, красочно расписывающие особую привлекательность данного заведения. Но в те дни посетителей хватало, чтобы заполнить любое количество подобных забегаловок. Особенно много народу было в теплые вечера; люди никуда не спешили, неторопливо переходя из одного бара в другой или просто стоя на проезжей части и беседуя с

приятелями. Впрочем, автомобили давно уже не осмеливались здесь ездить; здесь, пожалуй, даже велосипед лишь с трудом сумел бы протолкнуться сквозь толпы беспечных пешеходов.

Я назвал это место «веселым кварталом», и здесь было где выпить, закусить и поговорить, — но больше ничего. Чтобы попасть в настоящие «веселые кварталы», нужно было ехать в центр города — там гейши, театры. Но я лично всегда больше любил здешние бары и кафе с их типичной публикой, очень оживленной, но вполне достойной — в основном людей нашего круга, художников, писателей, любителей жарких споров и шумных бесед, которые порой затягивались за полночь. Заведение, которое чаще всего посещала наша компания, называлось «Миги-Хидари» и выходило на мощеную площадь, образованную пересечением трех улиц. «Миги-Хидари», в отличие от большей части своих соседей, занимал довольно просторный двухэтажный дом, где вечно сновали бесчисленные официантки как в западной, так и в традиционной одежде. Я когда-то немного помог хозяину «Миги-Хидари» обставить конкурентов, и в знак признательности наша компания навсегда получила персональный столик в углу. Сколько же

было выпито за этим столиком! Там со мною не раз просиживали вечера те, кого я считал своими лучшими учениками, своей элитой: Курода, Мурасаки, Танака — блестящие молодые люди, уже тогда имевшие весьма неплохую репутацию. Все они были большие любители поговорить, и я помню, какие страстные споры разгорались не раз в нашем уголке.

Синтаро, надо сказать, никогда не принадлежал к этой группе избранных. Лично я бы не возражал, чтобы и он к нам присоединился, но среди моих учеников было слишком сильно чувство иерархии, а Синтаро явно не считался достойным высшей ступени. Я хорошо помню тот вечер — вскоре после того, как Синтаро и его брат неожиданно заявились ко мне, — когда мне вздумалось рассказать об их визите. Помню, как смеялся Курода над радостью братьев по поводу обретения одним из них «ничтожной чиновничьей должности». Зато все они весьма почтительно слушали, как я вещал о том, что влиятельность и общественный статус человека могут возрасти совершенно незаметно для него самого, если он усердно трудится, ставя себе целью не повышение этого самого статуса, а то удовлетворение, которое получаешь, выполняя

работу на максимально высоком уровне. Когда я умолк, один из моих учеников — разумеется, Курода — наклонился ко мне и сказал:

— У меня давно возникли подозрения, что вы, сэнсэй, даже не представляете себе, с каким огромным уважением относятся к вам жители нашего города. Между прочим, случай, о котором вы только что рассказали, как раз и есть свидетельство того, что ваш авторитет вышел далеко за пределы мира искусства и теперь ваше имя известно во всех областях жизни. Но до чего же типично для вас, сэнсэй, что вы с присущей вам скромностью даже не подозревали об этом и были, наверное, больше всех удивлены тем, как высоко вас ценят в нашем обществе. А вот для нас, здесь присутствующих, это отнюдь не удивительно. На самом деле, только мы, сидящие за этим столом, действительно хорошо знаем, до какой степени недостаточно даже это огромное уважение публики к нашему учителю. Я лично ни капли не сомневаюсь: ваш авторитет в обществе, сэнсэй, с годами возрастет еще больше, и мы с особой гордостью будем рассказывать всем, что когда-то считались учениками самого Мацуи Оно.

В общем-то, в этих словах Куроды не было ни-

чего особенного; с некоторых пор мои ученики взяли себе за правило в определенный момент, когда все уже немного пьяны, произносить в мой адрес подобные пылкие речи. И тут уж с Куродой никто сравниться не мог, так что остальные воспринимали его как выразителя общего мнения. Я, разумеется, чаще всего пропускал эти славословия мимо ушей, но в тот раз — как и в тот полдень, когда Синтаро и его брат стояли, кланяясь и хихикая, у меня на крыльце, — я испытал теплое чувство удовлетворения и благодарности.

Не стоит, впрочем, думать, что я общался только с лучшими из своих учеников. Собственно, я и порог-то заведения госпожи Каваками впервые переступил, желая, насколько помню, провести вечер, беседуя именно с Синтаро. Но сегодня, когда я пытаюсь воскресить в памяти тот вечер, воспоминания о нем постоянно заслоняют звуки и образы других вечеров, связанные с нашим времяпрепровождением в «Миги-Хидари». Я помню свет фонарей над входом в «Миги-Хидари», смех и говор людей, запах пережаренной пищи, голос барменши, убеждающей кого-то, принявшего слишком большую дозу спиртного, вернуться домой, к жене, и бесконечное эхо шагов — стук деревянных сандалий по асфальту. Помнится, в тот

теплый летний вечер я, не обнаружив Синтаро ни в одном из его излюбленных мест, некоторое время скитался по крошечным барам и кафе, где, несмотря на явное соперничество, все же правил дух добрососедства. А потому мне показалось совершенно естественным, что, когда в одном из них я спросил о Синтаро, хозяйка без малейшей неприязни посоветовала мне поискать его в «новом баре», который тогда только что открылся.

Госпожа Каваками, несомненно, могла бы перечислить немало тех маленьких усовершенствований в облике ее заведения, которые она произвела с годами. Но, на мой взгляд, там и сейчас все выглядит практически так же, как в тот летний вечер. Стоит войти, и в глаза сразу бросается стойка бара, освещенная теплым светом низко подвешенных светильников; остальная же часть помещения как бы скрывается в полутьме. Редкие посетители в основном предпочитают устраиваться за стойкой, в озерце света, что создает в баре атмосферу душевной близости и уюта. Я помню, как с удовольствием осматривался, впервые попав туда, да и сейчас, несмотря на те колоссальные перемены, что произошли в мире, бар госпожи Каваками по-прежнему мил моему сердцу.

Однако вокруг него от прежней жизни почти ничего не осталось. Выйдя за порог бара, вы можете оцепенеть от изумления, решив, что за выпивкой и не заметили, как вас занесло куда-то на самый край цивилизованного мира. Все вокруг превращено в пустыню, заваленную обломками. Только уцелевшие остовы домов на заднем плане напоминают о том, что вы находитесь почти в центре города. «Военная разруха» — так называет это госпожа Каваками. Но я-то помню, как гулял здесь сразу после капитуляции и многие из этих домов еще стояли. И «Миги-Хидари» был на месте, хотя окна в нем выбило взрывами, а полкрыши провалилось внутрь. И я тогда все спрашивал себя, проходя мимо этих изуродованных зданий, смогут ли они вернуться к прежней жизни? А потом заглянул туда как-то утром — и увидел, что бульдозеры уже все сровняли с землей.

В общем, на той стороне улицы теперь один мусор. Нет, у властей, конечно же, имеются какие-то планы, но пока — вот уже целых три года! — смотреть там не на что. После дождя между кучами битого кирпича остаются глубокие лужи, которые подолгу не просыхают. В этих лужах плодятся комары, и госпоже Каваками пришлось даже затянуть окна противомоскитной сеткой,

хотя, как она справедливо заметила, клиентов это может только отпугнуть.

Здания по соседству с ее баром еще стоят, но в большинстве своем кажутся совершенно заброшенными. А ближайшие дома пустуют уже довольно давно, и это очень ее тревожит. Госпожа Каваками часто говорит, что если бы случайно разбогатела, то с удовольствием купила бы их и расширила свое заведение. Но денег у нее нет, вот и приходится ждать, пока эти дома купит кто-нибудь другой. Впрочем, она, наверное, была бы этому рада даже в том случае, если бы и там тоже открылись бары или кафе — все, что угодно, только бы не жить, точно посреди кладбища.

Если вам доведется выйти от госпожи Каваками, когда сумерки уже сгущаются, вы, возможно, невольно помедлите у порога, глядя на огромный пустырь, что раскинулся через улицу, где еще различимы в полутьме груды битого кирпича, сломанные доски и торчащие из земли искореженные водопроводные трубы, похожие на фантастические сорняки. И когда вы пойдете по улице, вдоль нее все время будут тянуться такие же горы мусора и меж них — грязные лужи, посверкивающие в свете уличных фонарей.

А если у подножия того холма, на котором

стоит мой дом, вы остановитесь ненадолго на Мосту Сомнений и оглянетесь назад, на бывший наш «веселый квартал», то, если еще не совсем стемнело, сумеете, наверно, разглядеть цепочку старых телеграфных столбов с оборванными проводами. Столбы эти уходят вдаль и постепенно исчезают во мраке, окутывающем ту дорогу, по которой вы только что прошли. И возможно, вы обратите внимание на странные темные гроздья на верхушках столбов — это птицы, весьма неудобно устроившиеся там на ночлег и словно ждущие, когда же снова будут натянуты провода, на которых они когда-то сидели, как ноты на нотных линейках.

Не так давно я стоял как-то вечером на нашем маленьком деревянном Мосту Сомнений и смотрел, как на дальнем пустыре над грудами мусора поднимаются два столба дыма. Возможно, огонь разожгли рабочие, неторопливо осуществлявшие некий бесконечный государственный план; а может, мусор просто подожгли дети, играя в какую-то недозволенную игру. Но отчего-то эти столбы дыма вызвали у меня приступ жестокой меланхолии. Они напоминали погребальные костры. Ну да, так и госпожа Каваками говорит: «живешь, точно на кладбище». И неудивительно,

как вспомнишь, сколько людей когда-то толпилось на улочках этого квартала.

Впрочем, я отклонился от темы. Я ведь пытался припомнить подробности пребывания у нас в гостях моей старшей дочери Сэцуко.

Как я, наверное, уже говорил, Сэцуко приезжала к нам в прошлом месяце и большую часть самого первого дня провела на веранде, беседуя с сестрой. Где-то далеко за полдень, когда дочери мои совершенно погрязли в каких-то своих женских разговорах, я решил оставить их и отправился на поиски своего внука Итиро, только что промчавшегося мимо нас и исчезнувшего в недрах дома.

Я шел по коридору, когда тяжелый глухой удар вдруг заставил весь дом содрогнуться. Встревоженный, я поспешил в столовую. Днем у нас в столовой темновато, и после залитой солнцем веранды моим глазам понадобилось, наверное, несколько минут, чтобы убедиться, что Итиро там нет. Но тут послышался еще один удар, затем еще и еще, а затем и голос самого Итиро, выкрикивавшего что-то вроде «Йе! Йе!». Звуки эти доносились из комнаты, носившей у нас название «музыкальной». Я подошел ближе, прислушался и тихонько раздвинул створки двери.

В отличие от столовой, музыкальная комната

освещена солнцем почти весь день. Это такая веселая и светлая комната, что, будь она немного побольше, наверняка стала бы просто идеальным местом для трапез. Одно время я использовал ее для хранения своих картин, а также красок и прочих материалов, но теперь в ней, помимо немецкого пианино, практически ничего нет. Скорее всего, именно почти полное отсутствие мебели и привлекло сюда моего внука, как раньше по тем же причинам веранда. Заглянув в «музыкальную», я увидел, как Итиро, странно притопывая ногами, пересекает комнату по диагонали — вероятно, решил я, он воображает себя всадником, чей конь галопом мчится по бескрайним прериям. Поскольку двигался он спиной к двери, то и меня заметил не сразу.

— Дед! — обернувшись, сердито воскликнул он. — Неужели ты не видишь, что я занят?

— Извини, Итиро, я не понял.

— Я же не могу играть, когда ты там стоишь!

— Еще раз извини, что помешал, но твои вопли звучали так интригующе, что мне очень захотелось войти и посмотреть, что ты тут делаешь.

Итиро некоторое время сурово смотрел на меня, потом сказал мрачно:

— Ладно, входи. Но только садись и сиди тихо.

Я очень занят.

— Хорошо, хорошо, Итиро, — улыбнулся я. — Большое тебе спасибо.

Но мой внук продолжал испепелять меня взглядом, пока я не пересек комнату и не уселся у окна. Вчера вечером, когда Итиро с матерью приехали к нам, я подарил ему альбом для рисования и набор цветных карандашей. И теперь я заметил на татами раскрытый альбом и разбросанные карандаши. Я видел, что на первых листах уже что-то нарисовано, и уже хотел было поднять альбом и посмотреть, что там такое, но в этот момент Итиро возобновил игру, прерванную моим появлением.

— Йе! Йе! — покрикивал он.

Я так и замер, внимательно наблюдая за ним, но мало что мог понять в тех сценах, которые он изображал. Он то скакал на лошади, то начинал сражаться с невидимыми врагами и все время что-то бормотал себе под нос. Я изо всех сил старался разобрать, что он говорит, но мне казалось, что это не обычные слова, а просто некий набор звуков.

Он очень старался не обращать на меня внимания, но все же мое присутствие явно действовало на него угнетающе. Несколько раз он как-то вдруг

странно застывал, даже не доведя до конца то или иное движение и словно полностью утратив всякий интерес к игре, потом снова брался за дело. Впрочем, вскоре ему все надоело, и он шлепнулся на пол. Я даже хотел ему поаплодировать за доставленное мне удовольствие, но решил, что, наверно, не стоит.

— Весьма впечатляющее зрелище, Итиро, — похвалил я его. — Только я не совсем понял, кого ты изображал?

— А ты догадайся!

— Хм… Принца Ёсицунэ, быть может? Нет? Воина-самурая? Тоже нет? Тогда, может, ниндзя?

— Холодно, дед. Ты идешь совершенно не в ту сторону.

— Ну так скажи сам. Кем ты был?

— Одиноким рейнджером![1]

— Кем?

— Одиноким рейнджером! Хай ю, Сильвер!

— Одиноким рейнджером? Это что же, ковбой?

— Хай ю, Сильвер! — Итиро опять вскочил и понесся галопом; на этот раз он еще конское ржание изобразить пытался.

---

[1] Примечания: 1

Персонаж множества американских радио- и телепрограмм, кинофильмов, книг и комиксов; исходная радиопостановка вышла в 1933 г., первый короткометражный фильм — в 1938 г.

— Итиро! — окликнул я его несколько более решительно. — Погоди минутку, послушай! По-моему, куда интереснее быть Ёсицунэ[2]. Хочешь, расскажу почему? Послушай, Итиро, да послушай же! Дедушка все сейчас тебе объяснит. Да постой же ты, наконец!

Возможно, в голосе моем послышалось некоторое раздражение, потому что Итиро вдруг остановился и посмотрел на меня озадаченно. Я некоторое время молча, в упор смотрел на него, потом вздохнул и сказал:

— Извини, Итиро. Зря я тебя остановил. Мне не следовало прерывать твою игру. И ты, конечно же, можешь сам выбирать, в кого тебе хочется играть. Пусть даже в ковбоя. Ты уж прости своего деда. Он просто на минутку забылся.

Мой внук продолжал не мигая смотреть на меня, и мне показалось, что он вот-вот расплачется или выбежит из комнаты.

— Прошу тебя, Итиро, продолжай играть во что играл.

Итиро еще с минуту смотрел на меня. Потом

---

[2] Примечания: 2

Минамото-но Есицунэ (1159–1189) — японский полководец. О нем — пьесы театра кабуки, работы художников школы укиё-э («зыбкого мира»), классический средневековый роман «Сказание о Ёсицунэ» (в переводе Аркадия Стругацкого — М.: Худ. лит., 1984).

вдруг громко завопил:

— Я — одинокий рейнджер! Хай ю, Сильвер! — и снова пустился по комнате галопом. Топал он еще яростнее, чем прежде, комната так и тряслась.

Я еще немного понаблюдал, как он скачет, потом нагнулся и поднял его альбом.

Первые четыре-пять листов Итиро использовал почти без толку. Техника у него, пожалуй, была даже неплоха, но он ни одного наброска — всё трамваи да поезда — так и не закончил. Итиро заметил, что я взял в руки его альбом, и тут же подскочил ко мне:

— Дед! Кто тебе разрешил это рассматривать?

Он попытался выхватить у меня альбом, но я ему не дал.

— Ладно тебе, Итиро, не будь таким вредным. Дедушка просто хочет посмотреть, что ты нарисовал теми карандашами, которые он тебе подарил. Он ведь имеет на это право, верно? — Я положил альбом на колени и открыл его на первой странице. — Набросок очень выразительный, но знаешь, Итиро, ты мог бы нарисовать и получше, если б захотел.

— Дед, я не разрешаю тебе смотреть мои рисунки!

И он предпринял еще одну попытку выхватить

у меня альбом, так что мне пришлось перехватить его ручонки.

— Дед! Сейчас же отдай!

— Хватит, Итиро, прекрати! Дай дедушке посмотреть. Лучше принеси-ка сюда карандаши, и мы с тобой что-нибудь нарисуем вместе. Дедушка покажет тебе.

Эти слова произвели совершенно неожиданный эффект. Мой внук тут же перестал бороться со мной и бросился собирать рассыпанные по полу карандаши. Когда он снова подошел ко мне, манеры его изменились, я сумел его заинтересовать. Он уселся рядом со мной, протянул мне карандаши и, не говоря ни слова, вопросительно уставился на меня.

Я открыл альбом на чистой странице и положил на пол перед ним.

— Давай-ка сперва я посмотрю, как ты рисуешь, Итиро, А уж потом мы решим, стоит ли мне как-то исправлять или улучшать твой рисунок. Ну, что ты хочешь изобразить?

Мой внук притих, задумчиво глядя на чистый лист, однако не брался за карандаш.

— Может, попробуешь нарисовать что-нибудь из того, что бросилось тебе в глаза вчера? — предложил я. — Ну, вот что ты увидел, как только вы

сошли с поезда?

Итиро еще некоторое время молча смотрел на чистый лист бумаги, потом вдруг поднял на меня глаза и спросил:

— А ты, дед, и вправду был когда-то знаменитым художником?

— Знаменитым? — Я засмеялся. — Думаю, что можно и так сказать. А что, так твоя мама говорит?

— Папа. Он говорит, что раньше ты был знаменитым художником. Но тебе пришлось все бросить.

— Я просто вышел на пенсию, Итиро. Все выходят на пенсию, когда достигают определенного возраста. Это вполне справедливо — ведь каждый старый человек заслужил отдых.

— А папа говорит, что тебе пришлось все бросить. Потому что Япония проиграла войну.

Я снова засмеялся, потом взял альбом и еще раз перелистал его, внимательно рассматривая сделанные моим внуком наброски трамваев. Я держал альбом подальше от глаз, чтобы лучше видеть.

— Понимаешь, Итиро, когда достигаешь определенного возраста, тебе хочется от всего отдохнуть. Твой папа тоже перестанет работать, когда ему

будет столько лет, сколько мне. А когда-нибудь и тебе будет столько лет, сколько мне, и тебе тоже захочется отдохнуть. Итак, — я открыл альбом на чистом листе и снова положил его перед Итиро, — что ты мне нарисуешь?

— А это ты, дед, нарисовал ту картину, что висит в столовой?

— Нет, ее нарисовал художник Ураяма. А что, она тебе нравится?

— А ту картину, что висит в коридоре, кто нарисовал?

— Ее нарисовал один очень хороший художник и мой старый друг.

— А где же твои картины, дед?

— Они все пока что убраны. А теперь, Итиро, давай вернемся к более важным вещам. Что ты мне нарисуешь? Что ты помнишь из событий вчерашнего дня? В чем дело, Итиро? Ты что это вдруг притих?

— Я хочу посмотреть твои картины, дед.

— Я уверен, что такой способный мальчик, как ты, успел очень многое запомнить. Ты же запомнил, например, ту афишу — с доисторическим чудовищем, верно? И я не сомневаюсь, что ты вполне сможешь нарисовать это чудовище. Может, даже лучше, чем на афише.

Итиро некоторое время явно обдумывал мои слова. Потом плюхнулся на живот, низко свесил голову над листом бумаги и принялся рисовать.

Темно-коричневым карандашом он нарисовал в нижней части листа ряд каких-то ящиков, превратившихся вскоре в очертания городских зданий. Затем на листе появилось огромное ящероподобное существо, оно стояло на задних ногах, грозно возвышаясь над городом. После чего мой внук заменил темно-коричневый карандаш красным и принялся рисовать вокруг ящера яркие полосы.

— А это что такое, Итиро? Огонь?

Итиро не ответил, продолжая решительно чиркать красным карандашом.

— А почему там пожар, Итиро? Он имеет какое-то отношение к появлению этого чудовища?

— Электрические провода, — кратко ответил Итиро и нетерпеливо вздохнул.

— Электрические провода? Так, это уже интересно. Хотелось бы знать, почему электрические провода вызывают пожар. Ты знаешь?

Итиро снова нетерпеливо вздохнул, но ничего не ответил, продолжая рисовать. Теперь он тем же темно-коричневым карандашом изображал в самом низу листа крошечные фигурки насмерть

перепуганных людей, разбегавшихся во все стороны.

— Здорово у тебя получается, Итиро! — похвалил я. — Пожалуй, тебя стоит наградить — сходить с тобой завтра на этот фильм. Ты как к этому относишься?

Мой внук помолчал, подумал и поднял на меня глаза:

— Этот фильм, наверное, слишком страшный для тебя, дед.

— Сомневаюсь, — усмехнулся я. — Но маму твою и тетю Норико он вполне напугать может.

Это страшно развеселило Итиро, он громко расхохотался, перекатился на спину и, продолжая хохотать, крикнул в потолок:

— Маме и тете Норико будет ужасно, ужасно страшно!

— Зато мы, мужчины, ничуть не испугаемся и посмотрим этот фильм с удовольствием, верно, Итиро? Завтра и сходим. Хорошо? И, если хочешь, возьмем с собой женщин и посмотрим, как им будет страшно.

Итиро захохотал еще громче.

— Да тетя Норико сразу до смерти испугается!

— Это вполне возможно, — кивнул я и тоже засмеялся. — Значит, решено: завтра все идем в

кино. А теперь, Итиро, давай-ка заканчивай свою картину.

— Тетя Норико очень испугается! Она захочет уйти!

— Возможно. А теперь довольно, Итиро, продолжай работать. У тебя очень хорошо получалось.

Итиро снова перекатился на живот и стал рисовать, но былой сосредоточенности у него уже не осталось. Он продолжал изображать фигурки бегущих в страхе людей, пока они, совершенно утратив форму, не превратились в непонятные закорючки. А вскоре, совсем позабыв о старании и аккуратности, он просто принялся чиркать карандашом по нижней части листа как придется.

— Итиро, что ты делаешь? Мы ни в какое кино не пойдем, если ты намерен и дальше так безобразничать. Немедленно прекрати!

Мой внук тут же вскочил на ноги и завопил:

— Хай ю, Сильвер!

— Итиро, сядь. Ты еще не закончил рисунок.

— Где тетя Норико?

— Она разговаривает с твоей мамой. А ты еще не закончил рисунок. Итиро!

Но мой внук уже скакал прочь из комнаты и во все горло вопил:

— Я — одинокий рейнджер! Хай ю, Сильвер!

Не помню точно, что после этого сделал я сам. Скорее всего, я еще несколько минут посидел в «музыкальной» комнате, глядя на рисунок Итиро и ни о чем конкретном не думая. Со мной в последнее время такое довольно часто бывает. Вскоре, впрочем, я встал и пошел посмотреть, куда разбрелись члены моей семьи.

Сэцуко я нашел на веранде; она сидела в одиночестве и смотрела в сад. Солнце светило еще довольно ярко, но уже сильно похолодало, и Сэцуко, заметив меня, передвинула один из футонов на солнечное пятно, приглашая меня присесть.

— А мы свежий чай заварили, — сказала она. — Хочешь чая, папа?

— С удовольствием, — сказал я, и она налила мне чая, а я тем временем тоже оглядел наш сад.

Несмотря на ущерб, нанесенный войной, он отлично восстановился, и в нем по-прежнему можно узнать тот сад, который около сорока лет назад посадил сам Акира Сугимура. В дальнем его конце, ближе к ограде, я заметил Норико и Итиро, рассматривавших что-то в зарослях бамбука. Этот бамбук, как и почти все прочие растения, Сугимура в свое время уже взрослыми перенес в свой сад из разных других мест. Говорят, что он часто ходил по городу, заглядывая за садо-

вые ограды, и предлагал внушительные суммы тем, у кого замечал куст или дерево, которые хотел бы пересадить к себе. Если это правда, то растения он подбирал с редкостным умением и вкусом, достигнув в итоге поистине восхитительной гармонии, которую по мере сил стараюсь поддерживать и я. Все растения в саду кажутся выросшими здесь самым естественным образом; ощущается лишь самый легкий намек на его искусственное происхождение.

— Норико всегда так хорошо ладит с детьми, — заметила Сэцуко, поглядывая на сестру и сына. — Итиро в нее прямо-таки влюбился.

— Итиро — отличный парень, — сказал я. — Совсем не такой робкий, как многие дети в его возрасте.

— Надеюсь, он не причиняет тебе особого беспокойства? Он иногда бывает таким упрямым! Прошу тебя, брани его, не колеблясь, если он станет тебя раздражать.

— Он ничуть меня не раздражает. Мы отлично ладим. Например, мы с ним только что занимались рисованием.

— Правда? Я уверена, что ему очень понравилось.

— А еще он разыграл для меня пьесу собствен-

ного сочинения, — прибавил я. — У него на редкость выразительная мимика.

— О да! Он часто и подолгу так играет.

— А он что же, свой собственный язык придумал? Я все прислушивался, да так ни слова и не понял.

Дочь засмеялась, смущенно прикрыв рот рукой.

— Он, наверное, в ковбоев играл. Когда он играет в ковбоев, то всегда пытается говорить «по-английски».

— По-английски? Невероятно! Так вот, значит, что это за язык!

— Мы однажды водили его в кино на американский фильм про ковбоев. И с тех пор он этих ковбоев просто обожает. Пришлось даже купить ему ковбойскую шляпу с широкими полями. Он убежден, что те смешные звуки, которые он издает, это и есть настоящий ковбойский клич. Странновато звучит, наверно.

— Вот оно в чем дело! — со смехом воскликнул я. — Мой внук, оказывается, — ковбой!

Листва в саду чуть покачивалась от слабого ветерка. Норико, сидя на корточках возле старого каменного садового фонаря, показывала Итиро на что-то пальцем.

— И все-таки, — вздохнул я, — еще несколько лет назад Итиро ни за что бы не повели смотреть ковбойский фильм!

Сэцуко, не оборачиваясь и по-прежнему глядя в сад, сказала:

— Суйти считает, что пусть он лучше увлекается ковбоями, чем идеализирует таких людей, как Миямото Мусаси[3]. Пусть лучше американским героям подражает.

— Вот как? Значит, Суйти считает, что это лучше?

На Итиро, похоже, ни каменный фонарь, ни то, на что указывала ему Норико, не произвели должного впечатления; с веранды было видно, что он яростно тянет тетку за руку. Сэцуко смущенно рассмеялась.

— Вот наглец! Вечно всех куда-то тащит... Что за манера!

— Между прочим, — сказал я, — мы с Итиро решили завтра сходить в кино.

— В самом деле? — В голосе Сэцуко явственно

---

[3] Примечания: 3

Миямото Мусаси (1584? — 1645) — самурай, основатель одной из школ фехтования, знаменитый мастер боя двумя мечами; при жизни не потерпел ни одного поражения, хотя скитался по стране, выискивая себе соперников; в последние годы жизни, став почти отшельником, жил в городе Кумамото, там же и умер. Написанная им «Книга пяти колец», руководство по фехтованию двумя мечами, переведена на многие языки, в том числе и на русский.

звучала неуверенность.

— В самом деле, — подтвердил я. — Его, похоже, страшно заинтересовал этот доисторический ящер. Не беспокойся, я прочитал анонс в газете. Фильм вполне подходит для мальчика его возраста.

— Да, конечно.

— Вообще-то, я подумал, что хорошо бы нам всем вместе в кино сходить. Устроить, так сказать, семейный поход.

Сэцуко нервно кашлянула и тихо сказала:

— Это было бы замечательно, но, по-моему, у Норико на завтра другие планы.

— Да? И какие же?

— Кажется, она хотела, чтобы мы все пошли в парк оленей смотреть. Но это, наверное, можно сделать и в другой раз.

— Я понятия не имел, что у Норико вообще имеются какие-то планы на завтра. Она определенно ни о чем таком меня не спрашивала. Кроме того, я уже пообещал Итиро, что завтра мы пойдем в кино, и он наверняка на это настроился.

— Ну конечно! — сказала Сэцуко. — Я уверена, он просто счастлив будет пойти в кино.

По садовой дорожке к нам двигалась Норико, ее вел Итиро, тянувший тетку за руку. Я, ко-

нечно, мог бы сразу спросить у Норико насчет завтрашнего дня, однако они с Итиро на веранде не остались, а прошли в дом вымыть руки. Так что вопрос этот я сумел задать лишь вечером, после ужина.

В течение дня наша столовая — место довольно мрачное, поскольку солнце редко туда заглядывает, но с наступлением темноты, когда зажжена лампа с абажуром, низко висящая над столом, в столовой становится очень уютно. Поужинав, мы еще какое-то время молча сидели вокруг стола, читая газеты и журналы, а потом я спросил у Итиро:

— Ну что, ты сказал тете насчет завтрашнего дня?

Мой внук с трудом оторвался от книжки и непонимающе посмотрел на меня.

— Так мы возьмем с собой женщин или нет? — продолжал я. — Помнишь, о чем мы с тобой говорили? Что им это, возможно, покажется слишком страшным.

На этот раз Итиро все понял и просиял.

— Да, боюсь, тете Норико будет страшновато, — сказал он. — Ты хочешь с нами пойти, тетя Норико?

— Куда пойти, Итиро-сан? — спросила Норико.

— На тот фильм о чудовище.

— Я подумал, что нам хорошо бы завтра сходить в кино всем вместе, — пояснил я. — Устроить, так сказать, семейный поход.

— Завтра? — Норико посмотрела на меня, потом на Итиро. — Дело в том, папа, что мы никак не можем завтра пойти в кино, верно, Итиро? Мы ведь идем в олений парк, ты помнишь?

— Олений парк может подождать, — сказал я. — Мальчику не терпится посмотреть этот фильм.

— Чепуха, — заявила Норико. — Мы уже обо всем договорились. На обратном пути мы собирались зайти к госпоже Ватанабэ. Она так хотела Итиро повидать, и мы давно с ней условились. Да и в парк мы давно уже договорились пойти, верно, Итиро?

— Со стороны папы было так мило пригласить нас в кино, — вмешалась Сэцуко. — Но, насколько я понимаю, госпожа Ватанабэ ждет нас. Может, все-таки отложить поход в кино на послезавтра?

— Но Итиро так хотелось посмотреть этот фильм! — запротестовал я. — Я правильно говорю, Итиро? Какие все-таки женщины зануды!

Но Итиро на меня не смотрел, делая вид, что с увлечением читает свою книгу.

— Ты бы сказал им сам, этим женщинам! — по-

советовал я ему.

Но мой внук продолжал пялиться в книгу.

— Итиро!

Вдруг, бросив книгу на стол, он вскочил и опрометью выбежал из столовой. Я усмехнулся.

— Ну вот, — сказал я Норико. — Теперь мальчик из-за тебя расстроился. Нечего было все портить!

— Но, папа! Это же просто смешно! Мы давным-давно договорились с госпожой Ватанабэ. Кроме того, по-моему, Итиро совершенно не нужно смотреть этот фильм. Да он ему и не понравится, я думаю. Верно, Сэцуко?

Моя старшая дочь смущенно улыбнулась.

— Но все равно со стороны папы было так мило… — тихо сказала она. — Может быть, послезавтра?

Я вздохнул, покачал головой и снова взялся за газету. Впрочем, вскоре я понял, что ни одна из женщин и не думает сходить за мальчиком и вернуть его в столовую. Пришлось самому подняться и пойти в «музыкальную» комнату.

Итиро не сумел дотянуться до выключателя на стене и включил лишь небольшой светильник, стоявший на пианино. Мой внук сидел на круглой вертящейся табуретке, положив одну щеку на закрытую крышку инструмента, и эта щека,

слегка расплющенная о темное дерево, прямо-таки источала неудовольствие.

— Ты извини, Итиро, что так получилось, — сказал я ему. — Не расстраивайся. Послезавтра мы с тобой непременно этот фильм посмотрим.

Итиро никак на мои слова не прореагировал, и я повторил:

— Не расстраивайся, Итиро. Ничего страшного не произошло.

Я подошел к окну. Снаружи уже совсем стемнело, и я увидел лишь собственное отражение в темном стекле и полупустую комнату у себя за спиной. Из столовой доносились приглушенные голоса женщин.

— Выше нос, Итиро, — сказал я внуку. — Не стоит огорчаться. Послезавтра мы обязательно пойдем в кино, обещаю.

Я повернулся к нему и увидел, что он сидит в прежней позе, щекой на крышке фортепиано, но пальцы его бегают по крышке, словно он играет гаммы.

Я усмехнулся.

— Значит так, Итиро: послезавтра мы с тобой идем в кино, и точка. Нельзя же, в конце концов, позволить этим женщинам нами командовать, верно? — я снова усмехнулся. — А знаешь, что

я думаю? Они просто побоялись идти! Тебе так не кажется?

Но Итиро, словно не слыша меня, продолжал барабанить пальцами по крышке пианино, и я решил, что лучше оставить его в покое.

Улыбнувшись, я тихонько вышел из комнаты и вернулся в столовую. Дочери мои сидели молча — каждая, уткнувшись в свой журнал. Я тоже сел и тяжко вздохнул, но ни та, ни другая никак на мой вздох не отреагировали. Я снял одни очки, надел другие, для чтения, и хотел уже снова углубиться в газету, когда Норико тихо предложила:

— Папа, может быть, нам выпить чая?

— Спасибо, Норико, но мне сейчас что-то не хочется.

— А тебе, Сэцуко?

— Спасибо, Норико. Но и я, пожалуй, тоже не хочу.

Какое-то время мы продолжали читать в полной тишине, затем Сэцуко спросила:

— Папа, а ты пойдешь с нами завтра? Тогда у нас все-таки получился бы семейный выход.

— Я бы с удовольствием пошел, но у меня завтра есть кое-какие неотложные дела.

— Что ты хочешь этим сказать? — тут же встряла в наш разговор Норико. — Какие еще

«неотложные дела»? — И, повернувшись к Сэцуко, прибавила: — Ты папу не слушай. Никаких «неотложных дел» у него нет. Ему теперь вообще нечего делать. И он будет просто бродить весь день по дому и хандрить — в своей обычной теперешней манере.

— Мне было бы очень приятно, папа, если бы и ты пошел с нами, — повторила Сэцуко.

— Мне очень жаль, — сказал я, глядя в газету, — но я, увы, не смогу. На завтра у меня есть кое-какие дела.

— Значит, ты намерен остаться дома в полном одиночестве? — уточнила Норико.

— Ну, если вы все уходите, то мне ничего другого, похоже, не остается.

Сэцуко вежливо кашлянула и сказала:

— Может быть, тогда мне тоже лучше дома остаться? Мы с папой даже еще и поговорить-то наедине толком не могли.

Норико через стол в упор уставилась на сестру:

— Тебе-то ни к чему отказываться от визита к госпоже Ватанабэ. В кои-то веки ты к нам приехала, так неужели ты хочешь все это время дома просидеть?

— Но я действительно с огромным удовольствием осталась бы дома и составила папе компанию!

Мне кажется, нам с ним есть о чем поговорить.

— Ну вот, папа, видишь, что ты натворил! — возмутилась Норико и, повернувшись к сестре, прибавила: — Значит, теперь мы с Итиро остались вдвоем?

— Ничего, Норико! Итиро с огромным удовольствием проведет с тобою весь день, — с улыбкой утешила ее Сэцуко. — В данный момент ты, безусловно, его любимица.

Я обрадовался, что Сэцуко тоже хочет остаться дома: у нас с ней действительно практически не было возможности поговорить спокойно, чтобы никто не мешал. А мне, как естественно и любому отцу, хотелось побольше узнать о жизни своей замужней дочери, но спрашивать в открытую я не решался. В тот вечер мне и в голову не приходило, что у Сэцуко имеются какие-то свои причины, чтобы остаться дома и поговорить со мной.

Возможно, это признак надвигающейся старости, что в последнее время я частенько бесцельно брожу по комнатам, и когда Сэцуко — на второй день своего пребывания у нас — раздвинула двери гостиной, то обнаружила, что я стою посреди комнаты, погруженный в глубокую задумчивость.

— Извини, — поспешно сказала она, — я зайду

попозже.

Услышав ее голос, я вздрогнул, обернулся и увидел свою старшую дочь, почтительно склонившуюся на пороге. Она держала в руках вазу, полную только что срезанных цветов и веток.

— Нет-нет, пожалуйста, входи, — успокоил я ее, — я ничем особенным не занят.

Выход на пенсию позволяет гораздо свободнее распоряжаться своим временем. По сути, это одно из самых больших удовольствий, которые дает «выход на заслуженный отдых», ибо теперь можно как бы плыть сквозь день с той скоростью, какая тебе больше по душе, с облегчением понимая, что и тяжкий труд, и великие свершения теперь позади. Впрочем, я, похоже, действительно становлюсь рассеянным, раз вот так, без причины, забрел не в какую-нибудь комнату, а именно в гостиную. Ибо на всю жизнь сохранил я внушенное мне еще моим отцом отношение к гостиной как к святому месту, которое следует всячески оберегать от «грязи» повседневных дел и забот и использовать только для приема особо важных гостей или для молитв перед буддийским алтарем. Соответственно, и в моем доме гостиная всегда отличалась от остальных комнат более торжественной атмосферой; и хотя я, в

отличие от моего отца, никогда не возводил это для себя в правило, но все же возражал, когда мои маленькие дети вбегали в гостиную без особого на то разрешения.

Мое уважительное отношение к гостиным может кому-то показаться преувеличенным, но примите во внимание тот факт, что в доме, где я вырос — в деревне Цуруока, полдня отсюда на поезде, — мне до двенадцати лет было запрещено даже заходить в гостиную. Эта комната во многих отношениях служила как бы центром нашего дома, и любопытство заставило меня создать некий образ ее интерьера благодаря случайным и мимолетным возможностям заглянуть внутрь. Впоследствии я не раз удивлял коллег своей способностью, всего лишь бегло взглянув, мгновенно запомнить то, что изображено на холсте. Возможно, за это умение мне следует благодарить отца: это он, хотя и совершенно непреднамеренно, заставил меня тренировать цепкость взгляда в те важнейшие для формирования личности годы. Ну а когда мне исполнилось двенадцать, он стал регулярно назначать мне в гостиной «деловые встречи», и теперь я попадал в заповедную комнату по крайней мере раз в неделю.

— Сегодня вечером у нас с Мацуи деловая бесе-

да, — объявлял за ужином мой отец.

Это означало, во-первых, что я сразу после трапезы обязан явиться в гостиную, а во-вторых, что остальным членам семьи запрещается в этот час даже шуметь поблизости от этой комнаты.

Мой отец исчезал там сразу после ужина и минут через пятнадцать звал меня. Комната, в которую я входил, освещалась одной-единственной высокой свечой, стоявшей на полу посредине. На татами в круге света, отбрасываемого этой свечой, сидел, скрестив ноги, мой отец, а перед ним стояла его «деловая шкатулка». Отец жестом приглашал меня сесть напротив, я садился, и сразу вся остальная часть комнаты за пределами этого светового круга погружалась во мрак. Лишь смутно различал я за отцовским плечом буддийский алтарь у дальней стены или темные складки штор в альковах.

И тут мой отец начинал говорить. Из «деловой шкатулки» он извлекал маленькие толстенькие записные книжки, открывал их и показывал мне столбцы тесно написанных цифр, что-то без устали поясняя размеренным внушительным тоном. Он прерывался лишь изредка, чтобы взглянуть на меня и убедиться, что я по-прежнему внимательно его слушаю. В такие мгновения я торопливо

бормотал: «Да, да, конечно».

Хотя тогда я, разумеется, еще не в силах был понять, о чем толкует отец, да к тому же он часто использовал профессиональный жаргон и сопровождал свою речь длиннейшими расчетами, ни малейшей скидки не делая на возраст своего собеседника. Но я и мысли не мог допустить о том, чтобы прервать его и попросить что-то объяснить. В голове моей крепко сидела мысль: меня допустили в гостиную только потому, что сочли достаточно взрослым, и теперь я *обязан* понимать все взрослые разговоры. Мое чувство стыда шло рука об руку с ужасной боязнью того, что в любой момент отец может потребовать от меня несколько более пространного ответа, чем «да, конечно», и тогда игре конец. И хотя проходил месяц за месяцем, а отец меня так ни разу ни о чем не спросил, я тем не менее с ужасом ожидал каждой очередной «деловой встречи».

Теперь-то мне ясно, конечно, отец никогда и не надеялся, что я сумею уловить нить его рассуждений, но я до сих пор не могу понять, зачем ему понадобилось подвергать меня подобным испытаниям. Возможно, ему хотелось, чтобы я с ранних лет уразумел: согласно его ожиданиям, в надлежащее время именно мне придется взять

в свои руки семейный бизнес. А может, ему казалось, что мне, как будущему главе семейства, совершенно необходимо быть посвященным во все его теперешние решения, чьи далеко идущие последствия повлияют, возможно, на мое положение, и таким образом, как представлялось, наверное, моему отцу, у меня будет меньше поводов жаловаться, если я унаследую не слишком процветающий бизнес.

Но однажды, когда мне было пятнадцать, отец пригласил меня в гостиную для беседы совсем другого рода. Как обычно, комнату освещала одна-единственная свеча и отец сидел в центре созданного ею светового круга. Только вместо шкатулки я увидел перед ним тяжеленную керамическую пепельницу и был очень озадачен: эту пепельницу — самую большую в доме — обычно подавали только гостям.

— Ты все принес? — спросил меня отец.

— Да, как ты и велел.

Я положил перед отцом принесенную стопку рисунков и набросков, выглядевшую довольно неопрятно: бумажные листы были разного размера и качества, и многие сильно покоробились от красок.

Я сидел молча, пока отец просматривал мои

работы. Он подолгу изучал каждый листок и откладывал его в сторону. Осмотрев почти половину, он сказал, не глядя на меня:

— Мацуи, ты уверен, что здесь все твои работы? Может быть, одну или две ты все-таки забыл мне принести?

Я ответил не сразу. Он поднял на меня глаза и спросил:

— Ну?

— Да, правда, может быть, одну или две я захватить забыл.

— Вот именно! И «забыл» ты, несомненно, те работы, которыми больше всего гордишься, так, Мацуи?

Не ожидая моего ответа, он снова принялся рассматривать мои рисунки, и я промолчал, осторожно наблюдая за ним. Один раз отец поднес рисунок совсем близко к свече и спросил:

— Это ведь та тропа, что ведет вниз с холма Нисияма, верно? Тебе определенно очень неплохо удалось передать сходство. Именно так тропа и выглядит, когда спускаешься с холма. И ощущение передано очень умело.

— Спасибо.

— Послушай, Мацуи, — отец по-прежнему смотрел не на меня, а на рисунок, — твоя мать сказала

мне весьма странную вещь. Она, похоже, всерьез считает, что ты мечтаешь профессионально заняться живописью.

Это явно звучало не как вопрос, так что я промолчал. Тогда отец перевел взгляд на меня и повторил:

— Твоя мать, Мацуи, похоже, всерьез считает, что ты мечтаешь профессионально заняться живописью. И она, конечно же, ошибается.

— Конечно, — эхом откликнулся я.

— То есть ты хочешь сказать, что с ее стороны возникло некоторое недопонимание.

— Несомненно.

— Понятно.

Отец еще несколько минут рассматривал мои рисунки, а я сидел и молча смотрел на него. Потом он сказал, не глядя на меня:

— По-моему, это твоя мать топчется там, за дверью. Слышишь?

— Нет, я ничьих шагов за дверью не слышал.

— Наверное, это все-таки твоя мать. Попроси ее зайти сюда, раз уж она пришла.

Я встал и выглянул за дверь. В коридоре было темно и пусто, как я, собственно, и ожидал. За спиной у меня раздался голос отца:

— Когда будешь ее искать, Мацуи, прихвати

заодно и остальные свои рисунки и принеси их мне.

Возможно, мне просто показалось, но через несколько минут, когда я вернулся в гостиную вместе с мамой, большая пепельница стояла уже гораздо ближе к свече, а в воздухе пахло гарью. Однако, заглянув в пепельницу, я не заметил следов того, что ею пользовались.

Отец рассеянно кивнул мне, когда я положил рядом с уже принесенной пачкой рисунков и свои самые последние работы. Похоже, все это время отец продолжал перебирать и рассматривать мои творения, да и сейчас был занят тем же. Некоторое время он даже не глядел в нашу сторону, и мы с матерью молча сидели напротив. Наконец, вздохнув, он поднял на меня глаза и сказал:

— Вряд ли, Мацуи, ты много внимания уделял странствующим монахам, верно?

— Странствующим монахам? Пожалуй, нет.

— А ведь они многое могут поведать о нашем мире. Я, правда, тоже почти не обращаю на них внимания. Хотя к святым людям всегда следует относиться с почтением, даже если порой они кажутся тебе всего лишь жалкими попрошайками.

Он замолчал, и я поспешил вставить свое «да, конечно».

Затем отец повернулся к матери и сказал:

— Ты помнишь, Сатико, тех странствующих монахов, которые часто проходили через нашу деревню? Один из них еще зашел к нам в дом вскоре после рождения вот этого нашего сына. Такой худой старик с одной рукой, но очень жилистый и крепкий. Помнишь?

— Конечно помню, — сказала мать. — Но, может быть, не стоит принимать близко к сердцу то, что говорят некоторые из них?

— А ты помнишь, — продолжал мой отец, — как глубоко тому монаху удалось заглянуть в душу Мацуи? Помнишь, Сатико, о чем он на прощанье предупредил нас?

— Но Мацуи был тогда всего лишь грудным младенцем! — Мать понизила голос, словно надеясь, что я, может быть, все-таки ее не услышу. Отец же, напротив, говорил нарочито громко, как если бы обращался к большой аудитории.

— Да, на прощанье он нас предупредил. И вот что сказал: ручки и ножки у вашего Мацуи здоровенькие, а вот духом он слабоват. Небольшая слабинка, но способствующая развитию таких свойств, как лень и лживость. Ты помнишь это, Сатико?

— Но, по-моему, тот монах сказал о нашем сыне

и много хорошего.

— Это правда. У нашего сына много хороших качеств, и монах действительно это подчеркнул. А ты помнишь, о чем еще он предупредил нас, Сатико? Если мы хотим, сказал он, чтобы хорошие качества в мальчике возобладали, нам следует проявлять бдительность и постоянно следить, не начала ли проявляться в нем та его слабина. Иначе, сказал тот старик, Мацуи наш вырастет совершенно никчемным.

— И все-таки, — снова осторожно вставила мать, — не слишком разумно, по-моему, было бы принимать близко к сердцу слова какого-то монаха.

Отца, казалось, ее слова несколько удивили, и он некоторое время молчал, задумчиво качая головой. Потом снова заговорил:

— Мне и самому тогда не слишком хотелось всерьез относиться к его словам. Но Мацуи подрастал, взрослел, и пришлось все же признать, что старик-то был прав. Нельзя отрицать: в характере нашего сына действительно есть некая слабина. Не зло — этого в нем нет. А вот с его ленью, с его нелюбовью к полезному труду, с его слабоволием приходится постоянно бороться.

Затем, словно на что-то решившись, отец взял

три или четыре моих рисунка, как бы взвесил их на ладони, посмотрел на меня и сказал:

— Мацуи, твоей матери показалось, что ты мечтаешь стать профессиональным живописцем. Так ошиблась она или нет?

Я молчал, опустив глаза. Затем я услышал рядом с собой тихий голос матери, почти шепот:

— Но ведь он еще так юн! Я уверена, это всего лишь детский каприз.

Последовала пауза, затем отец снова обратился ко мне:

— Мацуи, ты хоть немного представляешь себе тот мир, в котором существуют художники?

Потупившись, я продолжал упорно молчать.

— Художники, — сказал отец, — живут в нищете и убожестве. Среда, в которой они обитают, постоянно подвергает их соблазну слабоволия и разврата. Разве я не прав, Сатико?

— Конечно прав. Но ведь кое-кому из них все же удается подняться достаточно высоко и стать настоящим художником, избежав падения в эти ужасные пропасти.

— Разумеется, всюду есть свои исключения, — согласился отец. Я по-прежнему смотрел в пол, но по голосу его догадался, что он снова задумчиво и немного растерянно качает головой. — Но тех, кто

действительно обладает решительным и твердым характером, среди художников ничтожная горстка. А наш сын, боюсь, подобными качествами и вовсе не обладает. Скорее, наоборот. И наш долг защитить его от грозящих ему опасностей. Мы ведь, в конце концов, всей душой стремимся к тому, чтобы он стал человеком, которым можно гордиться, не так ли?

— Ну конечно! — сказала моя мать.

Я резко вскинул голову и посмотрел на отца. Свеча уже наполовину уменьшилась, и ее яркое пламя освещало лишь одну сторону отцовского лица, а вторая пряталась в густой тени. Мои рисунки лежали у него на коленях, и я заметил, что пальцы его нетерпеливо теребят края бумажных листов.

— А теперь, Мацуи, — велел он мне, — оставь нас. Я хочу поговорить с твоей матерью наедине.

Я помню, что позже, тем же вечером, случайно наткнулся в темноте на мать. Скорее всего, я налетел на нее в одном из неосвещенных коридоров, точно не помню. Как не помню и того, почему слонялся по дому в темноте, хотя наверняка не для того, чтобы подслушивать, о чем говорят мои родители, — для себя я сразу решил не обращать внимания ни на что, какое бы решение они ни

приняли там, в гостиной, после моего ухода. В те времена все дома, конечно, освещались довольно плохо, так что ничего необычного в том, что мы с мамой так и остались стоять в темноте, не было. Мы разговаривали, и я смутно видел мамин силуэт напротив, но лица ее разглядеть не мог.

— По всему дому почему-то пахнет гарью, — заметил я.

— Гарью? — Мать помолчала минутку, потом сказала: — Нет. По-моему, ничем таким не пахнет. Тебе, должно быть, просто показалось, Мацуи. У тебя слишком богатое воображение.

— Но я же чувствую запах гари! — возразил я. — Ну вот, теперь он снова усилился. А что, папа все еще в гостиной?

— Да. Он там над чем-то работает.

— Мне совершенно безразлично, что он там делает! — отрезал я.

Мать промолчала, поэтому я прибавил:

— Единственное, что отцу действительно удалось разжечь, это мои амбиции!

— Приятно это слышать, Мацуи.

— Ты только не пойми меня неправильно, мама. У меня нет ни малейшего желания, став взрослым, сидеть на том же месте в гостиной, где сидит сейчас мой отец, и рассказывать своему

сыну о финансовых счетах и потраченных деньгах. Неужели ты гордилась бы мной, если бы я стал таким?

— Конечно гордилась бы, Мацуи! Жизнь таких людей, как твой отец, куда более многогранна, чем ты в свои юные годы способен понять.

— А вот я бы собой таким ни за что гордиться не стал! И о своих амбициях я упомянул только потому, что хочу непременно подняться над такой жизнью!

На этот раз мать довольно долго молчала. Потом сказала:

— В молодости многое кажется скучным и безжизненным. Но потом, становясь старше, вдруг обнаруживаешь, что именно эти вещи и являются для тебя самыми важными.

На это я не ответил. И, немного подумав, сказал:

— Раньше я ужасно боялся, когда папа приглашал меня на очередную «деловую встречу». Но с некоторых пор эти «встречи», честно говоря, стали меня просто раздражать, вызывать у меня отвращение. Да и что, собственно, представляют собой эти «встречи», на которых мне «оказана честь» присутствовать? Пересчет имеющихся в наличии денег? Бесконечное ощупывание мо-

нет? Я никогда не прощу себе, если моя жизнь сложится именно так!

Я помолчал, надеясь, что мать что-нибудь скажет. В какой-то момент у меня даже возникло странное ощущение, будто она молча ушла прочь, пока я произносил свой монолог, и теперь я стою в темноте совершенно один. Но тут я услышал шорох — мать шевельнулась; оказалось, что она по-прежнему стоит прямо передо мной. И я еще раз сказал с вызовом:

— Мне совершенно безразлично, чем отец занимается сейчас в гостиной. Все равно воспламенить ему удалось только мои амбиции!

Однако, похоже, меня вновь унесло куда-то в сторону. Я ведь, кажется, собирался пересказать тот разговор, что состоялся у меня с Сэцуко месяц назад, когда она неожиданно вошла в гостиную с охапкой только что срезанных цветов и веток.

Помнится, она присела перед буддийским алтарем и принялась выбирать увядшие цветы из букетов, украшавших алтарь. Я молча сидел у нее за спиной и смотрел, как осторожно она встряхивает каждый стебелек, прежде чем положить его к себе на колени. Вначале мы болтали о каких-то пустяках, но потом она вдруг сказала, не оборачиваясь:

— Извини, папа, но я хочу тебе кое о чем напомнить. Хотя ты наверняка и сам думал об этом.

— О чем, Сэцуко?

— Дело в том, что, как мне кажется, эти брачные переговоры очень скоро возобновятся…

Сэцуко принялась расставлять принесенные цветы и ветки в вазы, стоявшие вокруг алтаря. Она делала это очень аккуратно, старательно и, вставив каждый новый цветок, прерывала работу и любовалась тем, что получилось.

— Понимаешь, папа, — вновь заговорила она, — если эти переговоры начнутся всерьез, то тебе, наверное, нужно будет предпринять кое-какие превентивные меры.

— Превентивные меры? Естественно, мы будем действовать очень осмотрительно. Но что все-таки ты имела в виду?

— Прости, но я имела в виду те расследования, которые обычно ведутся в таких случаях.

— Ну что ж, мы, разумеется, проведем их столь же досконально, как и в прошлом году. Наймем того же детектива — он нам показался вполне надежным, как ты помнишь.

Сэцуко осторожно вынула один из цветов и переставила его в другую вазу.

— Извини, папа, я, конечно же, недостаточно

ясно выразилась. Я, вообще-то, имела в виду расследования с *их стороны*.

— Нет, это ты извини! Я что-то тебя не понимаю. Мне как-то в голову не приходило, что нам есть что скрывать.

Сэцуко с нервным смешком воскликнула:

— Не сердись, папочка, прости меня! Ты же знаешь, я никогда не могу правильно построить беседу. Вот и Суйти вечно бранит меня за то, что я неясно выражаю свои мысли. Он-то отлично это умеет. И мне, несомненно, следует у него поучиться.

— Я уверен, что и ты прекрасно это умеешь. Просто я не совсем понимаю, о чем идет речь.

Сэцуко в отчаянии всплеснула руками.

— Ох уж этот ветер! — вздохнула она и снова потянулась к своим цветам. — Мне нравится так, а ветер, похоже, со мной не согласен… — Некоторое время она молчала, казалось, полностью поглощенная своим занятием, потом снова заговорила: — Ты должен простить меня, папа. Суйти, конечно, сумел бы сформулировать эту мысль значительно лучше, но, к сожалению, Суйти здесь нет. А я просто хотела сказать, что было бы, наверное, весьма разумно, если бы ты, папа, предпринял кое-какие предварительные шаги,

осуществил, так сказать, превентивные меры… чтобы не возникло ненужного недопонимания. В конце концов, Норико уже почти двадцать шесть. Нельзя допустить, чтобы нас снова постигло такое разочарование, как в прошлом году.

— Но какое недопонимание ты имеешь в виду?

— Я имею в виду события прошлого, папа. И очень тебя прошу, не сердись. Мне, наверное, и не стоило говорить об этом. Ведь ты наверняка и сам уже все обдумал и, конечно же, предпримешь необходимые шаги.

Сэцуко снова принялась возиться с цветами, потом вдруг повернулась ко мне и сказала с улыбкой:

— По-моему, плоховато это у меня получается. — Она указала на цветы.

— Да нет, просто великолепно!

Она с сомнением осмотрела украшенный алтарь и смущенно рассмеялась.

Вчера, когда я, сидя в трамвае, наслаждался медленным спуском с холма в тихий окраинный район Аракава, мне вдруг вспомнился этот разговор с Сэцуко, и в душе моей поднялась волна раздражения. Глядя в окно на пейзаж, в котором по мере удаления от центра города следы разрухи становились все менее заметными, я вспоминал,

как моя дочь, сидя перед алтарем, советовала мне «предпринять превентивные меры» и как она, слегка повернувшись ко мне, сказала: «Нельзя допустить, чтобы нас снова постигло такое разочарование, как в прошлом году». А еще мне припомнилось, с каким странным выражением лица Сэцуко в самое первое утро после ее приезда, когда мы сидели на веранде, намекнула, что я, дескать, должен знать ту тайную причину, по которой семейство Миякэ в прошлом году внезапно вышло из игры. Подобные воспоминания уже не раз за минувший месяц портили мне настроение; но именно вчера, когда я медленно и в полном одиночестве тащился на трамвае в тихие окраины, я сумел наконец разобраться в своих чувствах и понял, что раздражение мое вызвано не столько Сэцуко, сколько ее мужем.

Вообще-то, конечно, это вполне естественно, когда жена испытывает влияние со стороны собственного мужа — даже если этот муж, как, например, наш Суйти, высказывает идеи совершенно иррациональные. Но когда муж провоцирует у жены подозрительность по отношению к ее родному отцу, это не может не вызвать возмущения и обиды. Учитывая, сколько тягот выпало на долю Суйти в Маньчжурии, я всегда старался

терпимо относиться к некоторым проявлениям его характера; например, никогда не принимал на свой счет его весьма резкие высказывания в адрес моего поколения. Но мне всегда казалось, что подобные чувства с годами должны смягчиться, ослабеть. Однако же у Суйти они, похоже, становились все более обостренными и неразумными.

Все это, в принципе, не должно было бы так уж меня тревожить — в конце концов, Сэцуко и Суйти живут далеко, и видимся мы раз в год, не чаще, — если бы я не заметил, что с недавних времен — а точнее, с того самого приезда к нам Сэцуко месяц назад — безумные идеи Суйти проникли, похоже, и в душу Норико. Вот это-то и не давало мне покоя, и не один раз за последние несколько дней я испытывал искушение написать Сэцуко по этому поводу сердитое письмо. В конце концов, они — муж и жена, вот и пусть забивают друг другу голову всякими дурацкими подозрениями! На здоровье! Но пусть держат свои замечательные идеи при себе! Более строгий отец давно бы уже предпринял что-нибудь в этом отношении.

Не единожды в прошлом месяце я замечал, как мои дочери о чем-то оживленно беседуют, но стоит мне появиться поблизости, и они тут же с

виноватым видом умолкают на какое-то время, прежде чем им удастся изобразить — не слишком убедительно — продолжение беседы. Я отлично помню, что такое случалось по крайней мере раза три за те пять дней, что Сэцуко провела у нас. А совсем недавно за завтраком Норико вдруг сказала мне:

— Вчера я шла мимо универмага Симидзу, и догадайся, кого я увидела на трамвайной остановке? Дзиро Миякэ!

— Миякэ? — Я посмотрел на нее, удивленный тем, что Норико безо всякого смущения произносит имя несостоявшегося жениха. — Ну что ж, очень жаль.

— Жаль? Да нет, папа, если честно, я этой встрече даже обрадовалась. А вот он, похоже, страшно смутился, и я не стала его мучить слишком долгой беседой. К тому же мне нужно было поскорее вернуться в офис. Я ведь вышла на минутку, по делу. А кстати, ты знал, что он помолвлен и собирается жениться?

— И он тебе об этом сам сообщил? Какая бестактность!

— Ну, разумеется, он не стал первым упоминать об этом. Я сама его спросила. Я рассказала ему, что у меня в самом разгаре новые брачные пере-

говоры, и спросила, каковы в этом отношении его собственные перспективы. Я спросила просто так, ничего особенного не имея в виду, а он вдруг весь побагровел и ужасно смутился! Но потом все-таки раскололся. И признался, что уже помолвлен. И вопрос о свадьбе практически решен.

— Право, Норико, тебе не следовало проявлять подобную нескромность. С какой стати тебе вообще понадобилось заводить этот разговор о помолвках?

— Просто из любопытства. Все мои огорчения остались в прошлом, папа. А поскольку теперешние наши переговоры идут вполне успешно, я вдруг подумала: жаль, если бедный Дзиро Миякэ все еще пребывает во власти унылых воспоминаний о прошлогодней неудаче. И, как ты понимаешь, очень обрадовалась, узнав, что он обручен.

— Да уж, понимаю.

— Надеюсь, мне скоро удастся познакомиться с его невестой. Я уверена, что она очень мила. А ты как думаешь, папа?

— Я тоже уверен, успокойся.

Некоторое время мы ели молча, потом Норико вдруг снова заговорила:

— А знаешь, я чуть не спросила Дзиро и еще кое

о чем. Но все-таки не спросила! — Она наклонилась ко мне и прошептала:

— Представляешь, я чуть было не начала расспрашивать его о том, почему они в прошлом году вдруг вышли из игры!

— Вот и прекрасно, что не спросила! Кроме того, они ведь достаточно ясно все объяснили. Сказали, что, по их мнению, Дзиро по своему общественному положению тебя не достоин.

— Но ты же знаешь, папа, что это чистейшей воды отговорки! А истинная причина нам по-прежнему неизвестна. Я, во всяком случае, так никогда и не слышала ни одного вразумительного объяснения случившегося.

И в голосе Норико прозвучало нечто такое, отчего я сразу же посмотрел на нее. Она тоже смотрела на меня, держа свои палочки на весу и словно ожидая, что я прямо сейчас ей что-нибудь объясню. А когда я так ничего и не сказал, вновь принявшись за еду, Норико спросила:

— И все-таки, папа, как по-твоему, почему они тогда разорвали помолвку? Ты что-нибудь сумел об этом узнать?

— Ничего. Я же сказал: эти люди искренне считали, что их сын не по себе сосенку рубит. Что ж, вполне достойный ответ.

— Хотела бы я знать, папа, может, на самом деле это я им не подошла? Может, я показалась им недостаточно хорошенькой? Или еще каким-нибудь их требованиям не соответствовала? Тебе не кажется, что дело могло быть именно в этом?

— К тебе лично этот разрыв не имел ни малейшего отношения, и ты это прекрасно знаешь. Мало ли причин, по которым та или иная сторона может прекратить брачные переговоры.

— Хорошо, папа, но если это не имело отношения ко мне, тогда хотелось бы знать, что именно могло заставить столь внезапно порвать с нами отношения?

Мне показалось, что, говоря это, Норико как-то очень уж тщательно выбирала слова. Возможно, это просто плод моего воображения, но ведь отец всегда замечает любые, даже мельчайшие, изменения в интонациях родной дочери.

Так или иначе, а этот разговор с Норико заставил меня еще раз вспомнить о моей собственной такой же случайной встрече с Дзиро Миякэ, завершившейся разговором на трамвайной остановке. Случилось это больше года назад, когда переговоры с родителями Дзиро еще продолжались. Близился вечер, и всюду было полно людей, возвращавшихся домой с работы. По какой-то

причине я оказался в районе Йокоте и как раз шел к трамвайной остановке у здания компании «Кимура». Если вам знаком этот район, то вы, конечно же, представляете себе многочисленные мелкие офисы довольно обшарпанного вида, расположенные на верхних этажах тамошних магазинов. С Дзиро Миякэ я столкнулся, когда он, выйдя из одной такой конторы, спустился по узенькой лестнице на тротуар между фасадами двух домов.

До этого я встречался с ним всего два раза и в весьма торжественной обстановке — на семейных приемах; тогда он, естественно, был облачен в свои лучшие одежды. А в тот вечер он выглядел совершенно иначе: в видавшем виды дождевике, явно ему великоватом, с портфелем под мышкой. Весь его вид свидетельствовал о том, что им постоянно все помыкают и он к этому привык; ей-богу, мне показалось, он вот-вот начнет кланяться. А когда я спросил, работает ли он в том офисе, из которого только что вышел, он стал как-то нервно смеяться, словно я застукал его на выходе из совершенно непотребного заведения.

Потом-то до меня дошло, что его смущение было, пожалуй, чересчур уж большим, чтобы его можно было отнести на счет неожиданной встре-

чи со мной; но в то время я решил, что он просто стесняется своего убогого офиса и его жалких окрестностей. А всего неделю или дней десять спустя я с изумлением узнал, что семейство Миякэ прерывает с нами брачные переговоры, и, невольно вспомнив свою встречу с Дзиро, стал искать в ней уже совсем иной смысл.

— Хотел бы я знать, — сказал я Сэцуко, как раз гостившей тогда у нас, — неужели, когда я разговаривал с Дзиро, он и его родители уже решили прекратить переговоры?

— Видимо, да. И об этом, пожалуй, свидетельствует та его нервозность, которая сразу бросилась тебе в глаза, — ответила Сэцуко. — А что, неужели он ни словечком не обмолвился о своих намерениях?

Честно говоря, хотя после моей встречи с молодым Миякэ прошла всего неделя, я вообще с трудом сумел припомнить, о чем мы с ним тогда разговаривали. Ведь я не сомневался, что его помолвка с Норико состоится со дня на день и передо мной мой будущий зять, а потому мне казалось, в данный момент важнее всего помочь молодому человеку почувствовать себя в моем присутствии свободно. Вот я и не обратил особого внимания на то, что мы успели сказать друг

другу за те несколько минут, пока мы дошли до остановки и ждали трамвая.

Тем не менее, размышляя впоследствии обо всех этих событиях, я вдруг подумал, что, возможно, именно эта случайная встреча и явилась основным толчком к расторжению переговоров.

— Понимаешь, это вполне возможно, — излагал я свою мысль Сэцуко. — Молодой Миякэ очень близко к сердцу принял то, что я увидел, в каком убогом офисе он работает. И, видимо, в очередной раз остро почувствовал, сколь велика пропасть между нашими семьями. В конце концов, его родители так часто упоминали разницу в нашем положении, что едва ли это было для них ничего не значащим фактом.

Но Сэцуко, скорее всего, мои предположения убедительными не показались, так что, вернувшись домой, она наверняка продолжала обсуждать с мужем неудачу брачных переговоров Норико. Ибо в этом году она приехала к нам, явно имея на сей счет собственную теорию — точнее, вооружившись идеями Суйти. И мне снова пришлось вспоминать ту встречу с Дзиро Миякэ и рассматривать ее уже с иной точки зрения. Как я уже говорил, я и тогда-то почти ничего не запомнил из нашего с ним разговора, а теперь, когда

прошло уже более года, я и вовсе все позабыл.

Но неожиданно в памяти моей всплыл один отрывок нашего с ним диалога, которому я прежде почти не придал значения. В тот момент мы с молодым Миякэ дошли до главной улицы и стояли на остановке возле здания компании «Кимура», ожидая каждый своего трамвая. Вдруг Миякэ сказал:

— Сегодня весьма печальный день. У нас президент материнской компании умер.

— Да, это неприятно. А что, он был стар?

— Нет, шестьдесят с небольшим. Я, правда, никогда не имел возможности увидеть его, так сказать, во плоти, только на фотографиях. Но это был великий человек, и все мы чувствуем себя осиротевшими.

— Да, тяжкий, должно быть, удар для всех его подчиненных.

— Действительно тяжкий. — Миякэ немного помолчал. — Все сотрудники сразу как-то растерялись; мы даже не знаем, как наиболее пристойным образом выразить свое уважение к покойному. Видите ли, по правде говоря, наш президент совершил самоубийство.

— Вот как?

— Да, отравился газом. И похоже, сперва пытал-

ся сделать себе харакири, потому что на животе у него обнаружили характерные неглубокие порезы. — Миякэ мрачно потупился. — Таким способом он хотел принести извинения от руководимых им компаний.

— Извинения?

— Наш президент, несомненно, чувствовал себя ответственным за некоторые… деяния, к которым мы были причастны во время войны. Американцы уже сняли с работы двух высокопоставленных чиновников компании, но нашему президенту, видно, это показалось недостаточным. Своим поступком он как бы пытался попросить от нашего имени прощения у тех, кто потерял на войне своих близких.

— Но зачем же… — растерянно пробормотал я. — Нет, по-моему, это чересчур! Наш мир и впрямь сошел с ума! Чуть ли не каждый день появляются сообщения, что кто-то еще совершил самоубийство, желая заслужить прощение. Скажите, господин Миякэ, а вам эти смерти не кажутся совершенно бессмысленными? Ведь, в конце концов, если ваша страна ведет войну, а вы всеми силами стараетесь ей помочь, в этом нет ничего постыдного. Зачем же теперь просить за это прощения, да еще и убивая себя?

— Вы, несомненно, правы, но, если честно, и я, и многие мои коллеги испытали огромное облегчение. Мы чувствуем теперь, что можно забыть о былых грехах и смело смотреть в будущее. Наш президент совершил поистине великий поступок!

— Но и нанес огромный ущерб! Ибо из-за подобных мыслей многие наши лучшие люди добровольно расстаются с жизнью.

— Да, господин Оно, это действительно весьма прискорбно. Но порой мне кажется, что еще очень многим у нас следовало бы покончить с собой и попытаться таким образом заслужить прощение, однако эти люди слишком трусливы, чтобы ответить за свои дела. А потому благородным одиночкам вроде нашего президента приходится просить прощения — за всех! Сейчас многие снова заняли те же высокие посты, которые занимали и во время войны. А ведь некоторые из этих людей ничуть не лучше военных преступников. Собственно, они-то и должны были бы просить прощения.

— Мне ясна ваша точка зрения, — сказал я, — но ведь тех, кто сражался за родину или честно трудился во время войны в тылу, никак нельзя назвать военными преступниками. Боюсь, сейчас

этим выражением вообще пользуются с чрезмерной легкостью.

— Но именно эти люди и сбили с пути нашу страну, господин Оно! И, по справедливости, они должны были бы признать свою ответственность за это. Это же самая настоящая трусость — то, что они не желают признавать свои ошибки! Особенно если учесть, что ошибки эти они совершали от имени всей страны. Нет, по-моему, это самая большая трусость на свете!

Неужели молодой Миякэ действительно тогда сказал мне все это? А может быть, я уже путаю его слова с тем, что вполне мог бы сказать мне Суйти? Что ж, это вполне возможно; в конце концов, я ведь уже почти считал Миякэ своим зятем, и, наверное, он до некоторой степени ассоциировался в моем восприятии с моим первым зятем, Суйти. Разумеется, фразы типа «самая большая трусость на свете» куда больше подходят Суйти, чем застенчивому и учтивому Миякэ. Я совершенно уверен, что подобный разговор на трамвайной остановке действительно имел место, и мне представляется довольно странным, с чего это вдруг Дзиро Миякэ решил обсуждать со мной столь болезненную тему. Однако слова «самая большая трусость на свете» наверняка принадле-

жат Суйти! И чем чаще я теперь вспоминаю эти слова, тем больше убеждаюсь, что именно Суйти произнес их — в тот вечер, когда мы захоронили прах Кэндзи.

Потребовалось больше года, чтобы нам из Маньчжурии доставили прах нашего сына. Коммунисты, как нам постоянно объясняли, все время ставили палки в колеса. Затем, когда прах Кэндзи — вместе с прахом еще двадцати трех молодых людей, как и он погибших в безнадежной попытке прорваться через минное поле, — все-таки доставили, оказалось, что у нас нет и не может быть никакой уверенности в том, что мы хороним прах именно нашего сына. «Но если пепел моего брата и смешался с пеплом его боевых товарищей, — писала мне тогда Сэцуко, — то мы не имеем права жаловаться на это». Так что мы приняли присланную урну с прахом Кэндзи и устроили запоздалые похороны по всем правилам. В прошлом месяце исполнилось два года с тех пор. А во время похоронной церемонии на кладбище я заметил, как Суйти вдруг решительно повернулся и с сердитым лицом быстро пошел прочь. Когда я спросил Сэцуко, что случилось, она быстро шепнула:

— Пожалуйста, прости его, он нездоров. По-

следствия плохого питания. Он уже несколько месяцев не может от этого оправиться.

Но позже, уже после похорон, когда люди стали сходиться ко мне в дом на поминки, Сэцуко сказала:

— Пожалуйста, папа, постарайся понять. Такие церемонии совершенно выводят Суйти из равновесия.

— Как трогательно! — сказал я. — Я не знал, что они с твоим братом были так близки.

— Они с Кэндзи отлично ладили, когда встречались, — сказала Сэцуко. — Кроме того, Суйти чувствует себя таким же, как Кэндзи, и говорит, что легко мог бы оказаться на его месте.

— Ну так тем более — разве можно в таком случае уйти с похорон друга?

— Прости, папа. Суйти ни в коем случае не хотел обидеть тебя или проявить свое неуважение. Но мы с ним похоронили за прошлый год стольких друзей Суйти или его боевых товарищей, и каждый раз он на подобных похоронах просто из себя выходит, так сильно все это его злит.

— Злит? С чего бы это ему злиться-то?

Но ответить Сэцуко не успела: пришли еще люди, и мне пришлось прервать наш разговор. Лишь поздно вечером я сумел наконец погово-

рить с самим Суйти. Многие из гостей еще не разошлись и сидели в гостиной. Там я и заметил своего долговязого зятя: он стоял один, повернувшись ко всем спиной, и, раздвинув перегородку, неотрывно смотрел в темный сад. Я подошел к нему и сказал:

— Сэцуко говорит, что тебя страшно злят подобные церемонии. Это правда?

Суйти обернулся, улыбнулся мне и сказал:

— Пожалуй, да. Во время таких похорон в голову мне лезут всякие мысли, и я невольно начинаю злиться. Из-за бессмысленных утрат.

— Да. Думать об этом тяжко. Но ведь Кэндзи, как и многие другие, храбро встретил свою смерть.

Какое-то время мой зять молча смотрел на меня, и я в очередной раз поразился, каким застывшим, совершенно неподвижным, мертвым у него порой становится лицо; с ним довольно часто такое случается, но я никак не могу к этому привыкнуть. Хотя в глазах Суйти в такие моменты никакой злобы не видно, но поскольку зять мой — человек физически очень сильный, с довольно резкими и грубыми чертами лица, то при желании даже в самом невинном его взгляде можно обнаружить затаенный гнев или злобу.

— Похоже, конца не будет похоронам таких

храбрецов, — сказал он с горечью. — Половина ребят, закончивших школу в одном году со мной, погибли геройской смертью. И все — из-за какой-то ерунды, хотя причину своей гибели никому из них узнать было не суждено. А знаете, отец, что больше всего меня бесит?

— Что, Суйти?

— Где сейчас те, кто посылал таких мальчишек, как Кэндзи, храбро встречать свою смерть? Ведь эти люди и по сей день живы. И даже отлично преуспевают. И многие — те самые, которые и привели нас к катастрофе, — процветают лучше прежнего, ибо сумели выслужиться перед американцами. А таких, как Кэндзи, мы теперь вынуждены оплакивать. Вот что меня бесит. Храбрые молодые люди бессмысленно погибают, а настоящие преступники живут себе как ни в чем не бывало. И очень боятся выдать себя, показать свое истинное нутро, признать свою ответственность. — И я уверен, именно в этот момент он вновь отвернулся и сказал, глядя в темноту: — По-моему, это самая большая трусость на свете!

Я был совершенно измотан похоронами и поминками, иначе я, возможно, нашел бы, что возразить ему. Но в тот момент, решив, что у нас

еще будет возможность поговорить на эту тему, я поспешил перевести разговор на другое. Мы еще долго стояли рядом, глядя в темный ночной сад, и я расспрашивал Суйти о его работе, об Итиро. После возвращения Суйти с войны нам почти не доводилось встречаться, и в тот день я впервые так подробно беседовал со своим зятем, который, как оказалось, за эти годы сильно изменился и был настолько переполнен горечью, что мне приходилось заново привыкать к нему. В тот вечер меня несколько удивила его новая манера речи — ни малейшего следа не осталось от некоторой скованности, свойственной ему до ухода на фронт. Впрочем, это я отнес на счет сильного потрясения, вызванного похоронами и вообще его военным опытом — поистине ужасным, как намекнула Сэцуко.

Но, как оказалось впоследствии, настроение, в котором пребывал в тот вечер Суйти, оказалось вполне для него типичным в те дни. Вежливый, скромный молодой человек, который за два года до войны женился на Сэцуко, претерпел поистине невероятную трансформацию. Ужасно, конечно, что так много сверстников Суйти погибло, но все же откуда в нем столько горечи, столько неприязни по отношению к старшему поколению? В

теперешних взглядах Суйти отчетливо ощущается жесткость, граничащая со злобой, и это меня очень тревожит — особенно с тех пор, как его взгляды стали оказывать столь сильное влияние на Сэцуко.

Впрочем, трансформация, произошедшая с моим зятем, — явление в наши дни отнюдь не уникальное. Я замечаю это повсеместно; в характере всего младшего поколения произошли серьезные перемены, и не все из них мне до конца понятны, однако некоторые аспекты поведения молодежи не могут не вызывать беспокойства. Например, буквально вчера вечером в заведении госпожи Каваками я случайно услышал, как человек, сидевший за стойкой бара недалеко от меня, рассказывал:

— Я слышал, этого идиота пришлось отправить в больницу. Несколько сломанных ребер и сотрясение мозга.

— Это Хираяма-бой так пострадал, да? — участливо спросила госпожа Каваками.

— Ах, так его, значит, зовут Хираяма! Тот, что вечно слонялся тут и выкрикивал всякие дурацкие лозунги. Кто-то должен был заставить его прекратить. И похоже, вчера вечером его избили уже не в первый раз. Стыдно так разделаться с

дурачком, что бы он там ни орал!

Тут я не выдержал, повернулся к этому незнакомцу и спросил:

— Простите, вы, кажется, сказали, что Хираяма-бой избит? А из-за чего, собственно?

— По-моему, из-за того, что он все время распевал одну и ту же старую военную песню и выкрикивал какие-то допотопные милитаристские лозунги.

— Но он только это и умеет! — воскликнул я. — Он и знает-то всего две-три песни, которым его кто-то специально научил.

Мужчина пожал плечами:

— Я согласен, какой смысл избивать безмозглого идиота? Это просто бессердечно. Но ваш Хираяма-бой упорно продолжал торчать на мосту Каябаси, а вы и сами знаете, как там неспокойно после наступления темноты. Уселся на столбик ограды и битый час, наверно, распевал эту свою песню и орал лозунги. Его отлично было слышно в баре напротив. И, видимо, кому-то это изрядно надоело.

— Но бить-то зачем? — возмутилась госпожа Каваками. — Он ведь и мухи не обидит!

— Знаете, надо бы кому-то научить его петь новые песенки, — предложил ее собеседник, при-

хлебывая из стакана, — иначе его снова изобьют, если он по-прежнему будет тут слоняться, распевая всякое замшелое старье.

Мы все еще зовем его Хираяма-бой, хотя сейчас ему уже лет пятьдесят. С другой стороны, у него ведь действительно умственное развитие ребенка. Хираяма — его настоящая фамилия, и родители у него когда-то были, но, сколько я его помню, заботились о нем монахини из католической миссии. В период процветания нашего «веселого квартала» Хираяма-бой вечно сидел у входа в «Миги-Хидари» или в какое-нибудь соседнее заведение и был, как справедливо заметила госпожа Каваками, совершенно безвредным. А в довоенные годы и во время войны он даже стал пользоваться популярностью, исполняя свои песенки и смешно подражая патриотическим речам различных ораторов.

Кто научил его этому, я не знаю. Он знал всего две или три песни и из каждой помнил не больше одного куплета. Впрочем, голосом он обладал весьма звучным. А еще он развлекал зрителей тем, что, встав в горделивую позу, подбоченившись и глядя в небеса, выкрикивал: «Эта деревня также обязана принести свою жертву во имя императора! И возможно, кто-то во имя этого жизнь

положит, зато другие вернутся со славой и встретят рассвет новой жизни!» — в общем, что-то в этом роде. И люди, помнится, говорили: «Наш Хираяма-бой, конечно, с приветом, но самую суть уловил правильно! Он — истинный японец!» Я часто видел, как люди останавливались и давали ему деньги или покупали что-нибудь из еды, и в такие моменты на лице идиота расцветала счастливая улыбка. Понятно, из-за такого успеха Хираяма-бой и зациклился на своих патриотических песнях.

Кроме того, раньше люди убогие или слабоумные ни у кого особого раздражения не вызывали. Что же случилось с людьми, если им вдруг захотелось избивать слабоумного? Ну, может, кому-то не нравились его песни и дурацкие выкрики, но ведь по большей части это были те же самые люди, которые совсем недавно гладили его по головке, угощали лакомствами и всячески поощряли, вдалбливая в его башку эти крохи.

Впрочем, я уже говорил: у нас в стране сейчас царят иные настроения, и, наверное, Суйти в своем отношении к происходящему отнюдь не одинок. Возможно, я не совсем справедлив, наделяя и Миякэ тем же скептицизмом, однако если при нынешнем положении дел внимательно

слушать все, что вам говорят другие, то всегда можно уловить в их речах оттенок горечи. Во всяком случае, я точно знаю: Миякэ действительно сказал мне нечто подобное тем словам, которые я привел выше; возможно, все, кто относится к поколению Миякэ и Суйти, думают и говорят теперь примерно одинаково.

Я уже упоминал, кажется, что вчера предпринял поездку на южную окраину города, в район Аракава. Там как раз конечная остановка городского трамвая, и многих удивляет, зачем было тянуть линию так далеко. Аракава действительно на город совершенно не похожа — с ее чисто выметенными улицами и богатыми особняками, построенными на больших участках далеко от соседских домов; с ее рядами кленовых деревьев вдоль тротуаров; с тем ощущением вольного пространства, которое свойственно скорее сельской местности. Но, на мой взгляд, наши власти поступили совершенно правильно: жителям города только на пользу, если они могут с легкостью добраться на трамвае до тихих, малолюдных окраин. У нас далеко не всегда имелись подобные удобства, и я хорошо помню ощущение, будто ты стиснут со всех сторон, возникающее в большом городе, особенно в летнюю жару.

По-моему, современные трамвайные линии стали функционировать году в тридцать первом, когда наконец исчезли те примитивные вагоны, которые лет тридцать действовали всем на нервы. Если вы нездешний, вам, вероятно, трудно даже представить себе, какое сильное воздействие оказали новые трамвайные маршруты на жизнь нашего города в целом. Казалось, буквально за ночь целые районы совершенно переменили свой облик: опустели городские парки, в которых вечно кишел народ, а некоторые разновидности давно налаженного бизнеса стали терпеть значительные убытки.

Зато другие районы, разумеется, сразу выиграли, в том числе и участок по ту сторону Моста Сомнений; там вскоре и появился наш «веселый квартал». Пока туда не проложили трамвайные пути, там имелось лишь несколько жалких улочек, вдоль которых тянулись ряды крытых дранкой лачуг. В те времена никто и не держал этот квартал за особый, хоть чем-нибудь примечательный район, а его местоположение обычно определяли примерно так: «ну, это там, к востоку от Фурукавы». Однако же новая трамвайная линия означала, что пассажиры, сойдя на конечной остановке в Фурукаве, смогут гораздо

быстрее пешком добраться до центра города, нежели пересев на другой трамвай, делающий по городу круг. Вскоре действительно очень многие стали ходить от конечной остановки пешком, а в результате тамошние немногочисленные бары, до сих пор дававшие весьма посредственный доход, вдруг начали поразительным образом расцветать, да и новые питейные заведения стали открываться одно за другим.

Забегаловка, которая впоследствии превратилась в знаменитое кафе «Миги-Хидари», в те времена называлась просто «У Ямагаты» — так звали его владельца, ветерана войны. Это был самый старый бар в районе. Вид он имел довольно непрезентабельный, но я регулярно посещал его с самого приезда в этот город. Помнится, когда пустили новую трамвайную линию, Ямагата лишь несколько месяцев спустя сообразил, что вокруг него творится нечто невероятное, и принялся строить планы. Если учесть, что квартал прямо на глазах превращался в питейный центр, то его заведение, будучи здесь старейшим и находясь на перекрестке сразу трех улиц, считалось, естественно, этаким патриархом местного масштаба. Ввиду этого Ямагата почувствовал себя просто обязанным расширить и переоборудовать свое

заведение уже в ином, куда более роскошном обличье. Тем более что хозяин магазина, находящегося над ним, был готов продать ему свое помещение, да и необходимые средства было бы несложно найти. Основным препятствием в осуществлении как собственных планов Ямагаты, так и планов переустройства всего квартала в целом являлось отношение городских властей.

И тут Ямагата повел себя абсолютно правильно. Ибо, как вы, возможно, помните, тридцать третий и тридцать четвертый годы были не слишком благоприятными для создания нового «веселого квартала». Власти прилагали неимоверные усилия, чтобы держать под контролем самые фривольные проявления жизни города, и многие из наиболее известных пристанищ «декадентов» закрывались одно за другим. Да и сам я поначалу воспринимал идеи Ямагаты без особого восторга. И лишь когда он в подробностях изложил мне свой план по поводу строительства нового кафе, я наконец проникся его увлеченностью и пообещал сделать все, что в моих силах, для осуществления этой затеи.

Чуть раньше я уже упоминал, что мне довелось сыграть определенную роль в создании теперешнего «Миги-Хидари». Разумеется, финансовой

поддержки Ямагате я оказать не мог, будучи человеком небогатым. Зато в городе я к тому времени пользовался уже довольно большим авторитетом, хотя, помнится, еще не служил в министерской Комиссии по искусству, но личных связей у меня и в министерстве, и в других местах вполне хватало. Представители власти нередко советовались со мной по тем или иным вопросам политики в области искусства, а потому мое письменное обращение к ним по поводу планов Ямагаты не осталось без внимания.

«В намерения владельца данного заведения, — писал я, — входит прежде всего послужить торжеству нового патриотического духа, все шире распространяющегося ныне в Японии. Конечно же, этот новый дух в первую очередь отразится в интерьере кафе; любой посетитель, для которого этот новый дух неприемлем, незамедлительно почувствует себя там лишним. Владелец кафе также хотел бы, чтобы его заведение превратилось в некий культурный центр, где городские художники и писатели, в чьих работах особенно ярко отразились современные патриотические настроения, могли бы собраться и провести вечер в дружеской компании. По поводу данной идеи я со своей стороны заручился поддержкой

коллег, в том числе художника Масаюки Харады, драматурга Мисуми и журналистов Сигэо Оцуи и Эйдзи Нацуки — все это, как известно, авторы произведений, решительно пропагандирующих верность его императорскому величеству».

Далее я подчеркнул, что подобное заведение, обретя доминирующее положение среди соседствующих с ним баров и кафе, могло бы послужить поистине идеальным средством для создания соответствующей, крайне желательной атмосферы во всем данном районе.

«Иначе, — предостерегал я, — мы столкнемся с ростом влияния иных группировок, исповедующих то самое декадентство, на борьбу с которым мы уже потратили столько сил и которое, как известно, чрезвычайно ослабляет саму суть нашей культуры».

Власти ответили не только согласием, но и проявили просто поразивший меня энтузиазм. Это был еще один из тех случаев, когда тебя до глубины души потрясает неожиданное осознание того, что ты обладаешь куда большим авторитетом, чем тебе самому казалось. С другой стороны, меня никогда особенно не заботил мой авторитет в обществе, и вовсе не по этой причине открытие «Миги-Хидари» доставило мне такую радость;

скорее я испытывал гордость оттого, что у меня на глазах воплотилась в жизнь идея, которую я достаточно долго разделял и поддерживал. Теперь становилось ясно: новая духовная жизнь Японии отнюдь не исключает удовольствий, а значит, нет нужды и говорить о том, что стремление получить удовольствие непременно должно идти рука об руку с декадентством.

В общем, года через два с половиной после прокладки новых трамвайных путей открылось и «Миги-Хидари». Обновление своего кафе Ямагата провел умело и на широкую ногу, и теперь после наступления темноты любому прохожему сразу бросались в глаза ярко освещенный вход и бесчисленное множество больших и маленьких фонариков, обрамлявших конек и навесы крыши, свисавших с водосточных желобов, светящейся цепочкой обегавших оконные и дверные проемы; ну и конечно, нельзя было не заметить огромный подсвеченный транспарант, подвешенный на специальных распорках. На нем красовалось новое название кафе, выведенное на фоне армейских сапог, марширующих в боевом порядке[4].

Как-то вечером вскоре после открытия Ямагата

---

[4] Примечания: 4
Migi Hidari *(яп.)* — левой-правой.

провел меня внутрь и предложил выбрать любой столик, который, как он сказал, отныне и навсегда будет закреплен лично за мной. Главным образом, я полагаю, ему хотелось как-то отблагодарить меня за ту небольшую услугу, которую я ему оказал. С другой стороны, я всегда считался у него одним из лучших клиентов.

И действительно, я ведь начал ходить к нему больше двадцати лет назад, задолго до того, как его заведение превратилось в «Миги-Хидари». Не то чтобы мне его тогдашняя забегаловка так уж сразу понравилась — я ведь уже говорил, что ничем особенным она прежде не отличалась. Просто тогда я, совсем еще юнец, только что приехал в этот город и поселился в районе Фурукава, и ближайшей ко мне оказалась именно кафешка Ямагаты.

Вам, наверное, трудно даже представить себе, до чего непрезентабельным был тогда Фурукава. Если вы в нашем городе недавно, то при упоминании об этом районе вы, наверное, рисуете в своем воображении зеленый парк, который разбит там теперь, и прекрасные персиковые деревья, которыми этот парк знаменит. Но когда я в 1913 году впервые сюда приехал, район Фурукава представлял собой скопище заброшенных

либо дышащих на ладан фабричных и складских помещений, принадлежавших небольшим компаниям. Жилые дома тоже выглядели не лучше, ветхие, обшарпанные, и селились здесь только те, кому по карману было лишь самое дешевое жилье.

Я устроился в крохотной мансарде, которую сдала мне одна старая женщина, жившая внизу вместе с неженатым сыном. Комнатка эта совершенно моим потребностям не соответствовала. Электричества в доме не имелось, и рисовать по вечерам приходилось при свете масляной лампы. Для мольберта едва хватало места, и я невольно брызгал красками на стены и татами. Старуха постоянно ворчала по поводу того, что я, работая по ночам, мешаю им спать. Но самое неприятное — настолько низкий потолок, что выпрямиться в полный рост было совершенно невозможно, и приходилось часами работать в полусогнутом состоянии, то и дело стукаясь головой о балки. Тем не менее, в те дни я чувствовал себя безмерно счастливым: меня приняли на фирму мастера Такэды, и я теперь зарабатывал себе на жизнь как художник, а потому все прочие невзгоды казались мне пустяковыми.

Днем, разумеется, я работал не у себя на чер-

даке, а в «студии» мастера Такэды. Студия тоже находилась в Фурукаве и представляла собой длинное, как кишка, помещение над рестораном, в котором всем нам, пятнадцати юным художникам, вполне хватало места, чтобы расставить свои мольберты в ряд. Потолок здесь, хотя и был значительно выше, чем в моей комнатушке, сильно проседал в центре, и мы, входя в мастерскую, всегда шутили, что со вчерашнего дня он опустился, пожалуй, еще на несколько сантиметров. В длинной стене студии имелся ряд окон, призванных обеспечивать нам хорошее освещение; но свет, действительно потоками вливавшийся в окна, отчего-то казался всегда слишком резким и ярким, и возникало ощущение, что находишься не в студии, а в каюте корабля. Второй существенной проблемой было то, что владелец ресторана, расположенного внизу, не позволял нам задерживаться в мастерской после шести вечера, когда начинался наплыв посетителей. «Вы там, наверху, топаете, как стадо коров!» — заявлял он, выгоняя нас, и не оставалось ничего другого, как продолжать свою работу дома.

Тут, видимо, следует пояснить, что выполнить норму, не работая по вечерам, было совершенно невозможно. Фирма гордилась своей способно-

стью производить в кратчайшие сроки огромное количество картин, а мастер Такэда, в свою очередь, постарался, чтобы до нас дошло следующее: если мы не сможем выполнять заказ точно в срок — то есть к отплытию корабля, — то очень быстро растеряем всех заказчиков, уступив их фирмам-конкурентам. В результате нам приходилось в поте лица трудиться до поздней ночи и при этом на следующий день испытывать чувство вины, ибо от графика мы все же отстали. Очень часто, когда приближался крайний срок сдачи работы, мы спали не больше двух-трех часов в сутки, все остальное время проводя за мольбертом. Порой, если поступало несколько заказов один за другим, у нас от изнеможения и постоянного недосыпания начинала кружиться голова. Но несмотря на все это, я не могу припомнить, чтобы мы хоть раз не успели закончить работу в срок; по-моему, это достаточно красноречиво свидетельствует о том, в каких ежовых рукавицах держал нас мастер Такэда.

Я проработал на фирме уже около года, когда к нам поступил новый художник. Его звали Ясунари Накахара — хотя вряд ли это имя вам что-то скажет; да и откуда вам знать, ведь ему так никогда и не удалось добиться признания.

Самое большое его достижение — место преподавателя рисования в средней школе района Юяма, которое он получил за несколько лет до войны. Мне говорили, что он и до сих пор там работает, поскольку власти не видят причин увольнять его, как уволили многих других учителей. Да я и сам поминаю его больше под кличкой Черепаха, которую мы дали ему в те дни, когда вместе трудились на фирме мастера Такэды, и которую впоследствии, в течение всех долгих лет нашей с ним дружбы, я всегда произносил с приязненным чувством.

У меня сохранилась одна из картин Черепахи — автопортрет, который он написал вскоре после того, как мы ушли от Такэды. На портрете изображен очень худой молодой человек в очках и в рубашке с короткими рукавами; он сидит в тесной темноватой комнате в окружении мольбертов и шаткой мебели; его лицо с одной стороны освещено лучом света, падающего из окна. Это лицо очень серьезного и застенчивого человека, что полностью соответствует характеру Черепахи, — и он, на мой взгляд, в этом отношении нисколько не польстил себе. Глядя на его портрет, легко можно себе представить, что такого человека пассажиры в трамвае запросто отталкивают

локтями, пробираясь к освободившемуся месту. Но, видимо, каждый из нас тщеславен по-своему. Если скромность Черепахи и не позволила ему попытаться приукрасить свою робкую натуру, то она все же не помешала ему придать себе этакий величественно-интеллектуальный вид — черточки, которых я в нем абсолютно не помню. Но, честно говоря, я не припомню никого из моих коллег, кто смог бы нарисовать автопортрет с абсолютной правдивостью. Как бы точно он ни старался воспроизвести на холсте черты своего отражения в зеркале, характер, проступающий на полотне, редко походил на представление о нем окружающих.

Черепаха заслужил свое прозвище тем, что, поступив на фирму в период выполнения нами одного из наиболее трудоемких заказов, упорно продолжал сдавать не более двух-трех холстов за то же время, за которое остальные успевали сделать шесть или семь. Сперва его медлительность отнесли на счет неопытности и прозвище Черепаха произносили только у него за спиной. Но неделя шла за неделей, а скорости в его работе не прибавлялось, и окружающих это начинало откровенно злить. Вскоре его уже, не стесняясь, называли Черепахой в лицо, и он, прекрасно

понимая, что в этом прозвище нет ни капли доброжелательности, изо всех сил делал вид, что воспринимает это как милую шутку. Ему, например, могли крикнуть через всю мастерскую: «Эй, Черепаха, да ты, похоже, все тот же лепесток рисуешь, который еще на прошлой неделе начал?», и он очень старался непременно рассмеяться в ответ. Помнится, мои коллеги часто относили столь явную неспособность защитить собственное достоинство на тот счет, что Черепаха родом из Нэгиси — тогда, да и сейчас, пожалуй, бытовало не вполне справедливое мнение, что родившиеся в этой части города неизменно вырастают людьми слабохарактерными, бесхребетными.

Я помню, как-то утром мастер Такэда на минутку вышел из студии, и двое моих приятелей, подойдя к мольберту Черепахи, принялись дразнить его из-за вечной медлительности. Мой мольберт стоял неподалеку, и я хорошо видел, какого ужасного нервного напряжения стоил ему такой ответ:

— Умоляю вас, проявите ко мне терпимость! Больше всего на свете я хотел бы научиться у вас, моих старших и более умелых коллег, делать все быстро и хорошо. В последнее время я изо всех сил старался работать быстрее, но из-за спешки

мне пришлось выбросить несколько рисунков, иначе я просто опозорил бы высокую репутацию нашей фирмы. Но я сделаю все, чтобы завоевать ваше уважение. Очень прошу, простите меня и проявите ко мне еще немного терпения!

Черепаха еще несколько раз повторил свою просьбу, но его мучители все продолжали издеваться над ним, обвиняя в лености и желании переложить свою работу на плечи других. Теперь уже почти все, перестав рисовать, собрались у мольберта Черепахи. И когда нападающие принялись как-то особенно грубо оскорблять несчастного Черепаху, а остальные слушали это с явным удовольствием, даже не собираясь хоть чуточку за него вступиться, я не выдержал, шагнул вперед и заявил решительно:

Хватит! Вы что, не способны понять, что перед вами натура истинно художественная? Если художник отказывается жертвовать качеством во имя скорости, то именно за это его нам всем и следует уважать. Неужели вы настолько здесь одурели, что даже таких простых вещей не понимаете?

Конечно, с тех пор прошло много лет, и я не могу поклясться, что произнес в то утро именно эти слова. Но я совершенно уверен, что, защищая Че-

репаху, сказал что-то в таком роде, ибо отчетливо помню благодарность и облегчение, написанные на лице Черепахи, когда он повернулся ко мне. Помню я и изумленные взгляды своих коллег. Сам-то я занимал высокое положение в здешней «иерархии»; среди учеников Такэды никто не мог сравниться со мной ни в качестве, ни в количестве производимой продукции, так что, по-моему, мое вмешательство положило конец истязаниям Черепахи. По крайней мере, до конца дня.

Вам, возможно, покажется, что я слишком выпячиваю свою роль в этом маленьком эпизоде; в конце концов, совершенно ясно, почему я бросился защищать Черепаху, — любой из тех, кто с уважением относится к серьезному искусству, на моем месте поступил бы точно так же. Но нужно помнить и о той атмосфере, что царила в мастерской Такэды, — ведь нас объединяло ощущение того, что мы все вместе как бы ведем бой со временем, желая сохранить тяжким трудом завоеванную репутацию фирмы. И при этом мы прекрасно понимали, что главное в нашей работе — это сделать так, чтобы наши «творения», которые мы сотнями тиражировали для увозящих их за тридевять морей иностранцев, — все эти гейши, вишневые деревья в цвету, золотые рыбки в

пруду, старинные замки — выглядели достаточно «японскими», а подлинные тонкости стиля все равно, скорее всего, останутся незамеченными. Так что я вряд ли слишком завышаю оценку своего тогдашнего поступка, ибо, осмелюсь предположить, он стал ярким проявлением того моего качества, за которое меня впоследствии стали очень уважать, — способности самостоятельно думать и рассуждать, даже если это означает вызов всему твоему окружению. Во всяком случае, остается фактом: я был единственным, кто в то утро встал на защиту Черепахи.

И хотя Черепаха как-то умудрился поблагодарить меня и за это маленькое вмешательство, и за иные проявления солидарности, жизнь наша текла в те дни в таком бешеном темпе, что лишь какое-то время спустя мы с ним сумели как следует поговорить в относительно спокойной обстановке. Думаю, не менее двух месяцев промелькнуло с того дня, который я только что описал, когда в нашем лихорадочном графике наступило наконец некоторое затишье. Я гулял возле храма Тамагава, что часто делал, когда у меня появлялась свободная минутка, и увидел Черепаху, сидевшего на скамейке и явно задремавшего на солнышке.

Я и по сей день остаюсь большим поклонником этой местности и готов признать, что насажденные там зеленые изгороди и ряды деревьев действительно помогают создать атмосферу, подобающую месту поклонения богам. Но все же теперь, когда бы я ни пришел туда, в душе моей пробуждается ностальгия по тем временам, когда ни деревьев, ни живых изгородей там еще не было и место казалось куда более просторным и полным жизни; там и сям прямо на траве — ларьки, торгующие сластями и воздушными шариками, и балаганы с жонглерами и фокусниками… А еще там, помнится, всегда можно было сфотографироваться — буквально на каждом шагу попадались фотографы под черной накидкой и с аппаратом на треноге. Тот воскресный полдень, когда я случайно наткнулся на Черепаху, пришелся на самое начало весны, так что вокруг так и кишели дети, пришедшие сюда с родителями. Я подошел к скамье и сел рядом с Черепахой, отчего он, вздрогнув, проснулся, но тут же просиял, увидев меня.

— Неужели это вы, Оно-сан! — воскликнул он. — Как хорошо, что мы сегодня встретились! А ведь всего несколько минут назад я говорил себе: будь у меня немного денег, я бы непременно купил

что-нибудь вам в подарок — просто на память, в знак благодарности за вашу доброту. Но, увы, в настоящее время мне по карману только грошовые безделушки, что, на мой взгляд, выглядело бы просто оскорбительно. И пока что, Оно-сан, я могу лишь поблагодарить вас от всей души, если позволите, за все, что вы для меня сделали!

— Не так уж много я и сделал! — возразил я. — Просто пару раз высказал вслух то, что думаю, вот и все.

— Нет, Оно-сан, такие люди, как вы, встречаются очень редко! И для меня большая честь — работать рядом с таким человеком. Уверяю вас: как бы далеко в будущем ни разошлись наши пути, я никогда не забуду вашей доброты!

Помнится, я еще несколько минут слушал его похвалы моему мужеству и стойкости, потом не выдержал и сказал:

— А я ведь тоже давно собирался поговорить с вами. Понимаете, меня не слишком устраивает сложившаяся ситуация, и я, наверное, в самом ближайшем будущем покину мастерскую господина Такэды.

Черепаха с превеликим изумлением уставился на меня и с комической опаской огляделся, словно опасаясь, что мои «крамольные речи» могут

подслушать враги.

— Мне здорово повезло, — продолжал я, — моя работа привлекла внимание Сэйдзи Мориямы, живописца и графика. Вы о нем, наверное, слышали?

Черепаха, по-прежнему глядя на меня в упор, покачал головой.

— Господин Морияма — *настоящий* художник! — с жаром пояснил я. — Действительно великий! Это невероятное везение, что он обратил на меня внимание и даже кое-что посоветовал. В общем, он сказал, что, если я останусь у мастера Такэды, это нанесет мне как художнику непоправимый вред. И пригласил меня к себе в ученики.

— Да неужели? — осторожно заметил мой приятель.

— И знаете, — продолжал я, — сейчас, бродя по парку, я подумал: «А ведь господин Морияма совершенно прав. Для простых рабочих лошадок очень даже неплохо трудиться в поте лица под руководством мастера Такэды и тем зарабатывать себе на жизнь. Однако художник, имеющий действительно серьезные намерения, должен смотреть дальше и метить выше».

Я помолчал, выразительно глядя на Черепаху. Он продолжал пялиться на меня, но на его лице

появилось озадаченное выражение.

— Боюсь, я допустил некоторую вольность, упомянув о вас господину Морияме, — объяснил я. — Но я говорил лишь о том, что вы, на мой взгляд, являетесь исключением среди прочих моих коллег, ибо только у вас есть и настоящий талант, и серьезные устремления.

— Право, Оно-сан… — он нервно засмеялся. — И как только у вас язык повернулся сказать такое! Я понимаю, вы мне только добра желаете, но это уж чересчур…

— В общем, я намерен принять любезное предложение господина Мориямы, — решительно заявил я. — И настойчиво прошу вас разрешить мне показать ему и ваши работы. Если вам повезет, вы тоже сможете стать его учеником.

На лице Черепахи отразилось полное отчаяние.

— Ах, Оно-сан, что вы такое говорите? — Он перешел почти на шепот: — Мастер Такэда взял меня к себе благодаря рекомендации одного из самых уважаемых знакомых моего отца. И действительно был чрезвычайно терпелив со мной, несмотря на все мои проблемы. Как же я могу теперь совершить подобное предательство — уйти, проработав у него всего несколько месяцев?

— И почти сразу, сообразив, видимо, что он такое ляпнул, Черепаха стал торопливо оправдываться: — Разумеется, Оно-сан, я ни в коем случае не хотел сказать, что и вы совершаете предательство. Ни в коем случае! У вас-то ведь обстоятельства совершенно иные. Нет, мне бы и в голову никогда не пришло… — Он совсем смутился, растерянно хихикнул, но все же постарался взять себя в руки и спросил: — А вы это серьезно — насчет того, чтобы уйти от мастера Такэды, Оно-сан?

— На мой взгляд, — сказал я, — мастер Такэда и не заслуживает верности людей, подобных нам с вами. Верность ведь еще заслужить нужно! Слишком многое в жизни делается из чувства верности. И слишком часто люди ей следуют слепо. Но я не имею ни малейшего желания подчинять свою жизнь подобным принципам.

Возможно, в тот день я использовал и несколько иные слова; ведь мне довелось впоследствии не раз пересказывать эту сцену, а при многократном повторении любой рассказ неизбежно начинает жить своей собственной жизнью. Впрочем, даже если в тот день я и не столь четко выразил перед Черепахой свою жизненную позицию, то все же можно допустить, что приведенный выше пассаж вполне отражает мое тогдашнее настроение

и твердую решимость идти к намеченной цели.

Кстати сказать, чаще всего мне приходилось рассказывать о днях, проведенных на фирме Такэды, за нашим излюбленным столиком в «Миги-Хидари». Моим ученикам, похоже, страшно нравилась эта давнишняя история о моем расставании с мастером Такэдой — возможно, им просто хотелось узнать, как их учитель поступал, будучи в их возрасте. В общем, так или иначе, а тема моей службы на фирме часто всплывала во время наших посиделок в «Миги-Хидари».

— А ведь кое-какой полезный опыт я там действительно приобрел, — помнится, сказал я им как-то. — Именно Такэда научил меня некоторым весьма важным вещам.

— Простите, сэнсэй, — прервал меня кто-то, скорее всего, Курода, как всегда перегнувшийся ко мне через стол, — но с трудом верится, что в таком месте, как эта фирма, художник может вообще хоть чему-то научиться.

— Я тоже так думаю, сэнсэй, — послышался еще чей-то голос — Объясните, пожалуйста, что именно вам дала работа на фирме Такэды? Судя по вашим описаниям, обстановочка там была вроде как на производстве упаковочных картонок.

Так оно всегда и получалось в «Миги-Хидари»:

я беседовал с кем-то одним, а остальные вроде бы заняты были совсем другими разговорами, но явно держали ушки на макушке. И стоило им услышать, что мне задали какой-то интересный вопрос, как все прочие разговоры разом смолкали и мои ученики поворачивались ко мне, а в глазах у них так и светилось любопытство. Похоже, они старались не упустить ни крохи из тех сведений о жизни, которые я мог им дать. И при этом никак нельзя сказать, что они слушали меня не критически. Это были очень яркие, блестящие молодые люди, и бросаться необдуманными словами в их присутствии явно не стоило.

— Работая у Такэды, — сказал я им тогда, — я довольно рано получил один очень важный урок: даже если на своих учителей и полагается смотреть снизу вверх, все же не менее важно научиться подвергать их авторитет сомнению. Опыт, полученный в мастерской Такэды, научил меня никогда не следовать слепо за толпой и всегда тщательно обдумывать, а правильным ли является то направление, куда меня толкают. И если уж я что-то и старался вам всем внушить, так это необходимость обрести способность подниматься над привычным ходом вещей, над всякими нежелательными, разлагающими воз-

действиями, ибо мы потонули в декадентстве, как в болоте, сильно ослабив дух нашего народа за последние десять-пятнадцать лет.

Я, наверное, был немного пьян и говорил несколько напыщенно, но таков был стиль наших традиционных посиделок за угловым столиком.

— Это верно, сэнсэй, — сказал кто-то. — И все мы должны об этом помнить. И должны приложить все силы, чтобы подняться над привычным ходом вещей!

— И, на мой взгляд, мы, собравшиеся за этим столом, имеем полное право гордиться собой! — продолжал я. — Вокруг господствуют уродство и разврат. Но теперь — наконец-то! — в Японии начинает возрождаться более возвышенное, более мужественное начало, и все вы — часть этой новой духовной жизни. И я мечтаю, чтобы вы пошли еще дальше, чтобы вас повсюду воспринимали как разящее острие нового японского духа! И я искренне считаю «Миги-Хидари», — с этого момента я, пожалуй, обращался уже не только к сидящим за столом, но и ко всем, кто прислушивался к нашему разговору, — это прекрасное кафе, где мы так любим собираться, ярким свидетельством возрождения нашей духовной жизни.

И все мы имеем право гордиться тем, что к этому причастны!

Часто, чем веселее становилось за нашим столом, тем больше собиралось вокруг нас других посетителей кафе; они либо тоже участвовали в спорах, либо просто стояли и слушали, впитывая идеи. В целом мои ученики с готовностью выслушивали мнения незнакомцев, хотя, конечно, если какой-нибудь зануда или тип с совершенно неприемлемыми взглядами уж очень начинал наседать, ребята довольно быстро оттирали его в сторону. Но, несмотря на жаркие споры и громкие речи, продолжавшиеся порой за полночь, настоящие ссоры в «Миги-Хидари» случались редко, ибо нас, завсегдатаев этого заведения, объединяла некая общая, основополагающая идея. В этом отношении кафе стало именно таким центром, о каком когда-то и мечтал Ямагата: царившую там атмосферу всегда отличала некая возвышенность чувств, там даже напиться можно было, не теряя при этом гордости и достоинства.

У меня дома сохранилась картина Куроды, самого одаренного из моих учеников, на которой как раз изображен один из вечеров в «Миги-Хидари». Картина называется «Дух патриотизма». Прочитав такое название, вы, наверное, подума-

ете, что Курода нарисовал солдат на марше или что-нибудь в этом роде. Нет, с точки зрения Куроды, дух патриотизма зарождался где-то глубоко в повседневной рутине и выражался, например, в том, где именно люди собираются, чтобы выпить и побеседовать, и с кем они при этом общаются. Эта теория была его личным вкладом — а он тогда верил в подобные вещи — в создание той атмосферы, что царила в «Миги-Хидари». Картина написана маслом; на ней изображены несколько столиков и очень похоже переданы колорит и обстановка заведения Ямагаты — особенно выразительны патриотические транспаранты и лозунги, свисающие с потолочных балок. За столиками сидят и беседуют посетители кафе, а на переднем плане официантка в кимоно спешит куда-то с подносом, уставленным напитками. Картина, по-моему, очень хороша. Куроде удалось весьма точно передать шумливую, пьяноватую, но в то же время очень достойную, даже несколько возвышенную атмосферу «Миги-Хидари». И когда я порой смотрю на эту картину, всегда испытываю определенное удовлетворение, вспоминая, что именно я — с помощью того небольшого влияния, которое давала мне тогда моя репутация в нашем городе, — помог созданию

такого замечательного места.

Я и сейчас довольно часто, особенно засидевшись вечерком у госпожи Каваками, замечаю, что вновь возвращаюсь в своих воспоминаниях к былым дням и славному «Миги-Хидари». Ибо есть что-то в заведении госпожи Каваками, где мы с Синтаро обычно являемся единственными посетителями, в том, как мы сидим с хозяйкой за стойкой бара под низко висящими фонарями, что пробуждает в нас ностальгические настроения. Мы с Синтаро можем, например, вдруг начать обсуждать кого-то из нашего прошлого — сколько он мог выпить и какой он был смешной и манерный. А потом изо всех сил стараемся заставить и госпожу Каваками вспомнить этого человека и, пытаясь пробудить ее память, сами припоминаем все больше и больше забавных черточек этого человека. Вчера, к примеру, когда мы уже вдоволь посмеялись за чередой подобных воспоминаний, госпожа Каваками, как всегда, заключила:

— Хорошо, хорошо, но имени его я все равно не помню, хотя наверняка узнала бы его при встрече.

— По правде говоря, Обасан, — сказал я, припоминая, — он никогда и не был в числе завсегдатаев вашего заведения. А выпивать ходил обычно

в кафе напротив.

— Ах, да, разумеется! В то большое кафе! И все-таки я, возможно, узнала бы его, если б увидела. А впрочем, кто знает? Люди так сильно меняются. Я то и дело встречаю кого-то на улице и думаю: да я ж его знаю, нужно поздороваться. А потом присмотрюсь, и всякая уверенность пропадает.

— И не говорите, Обасан, — вставил Синтаро. — Вот и я на днях так же поздоровался с кем-то на улице, думая, что это мой знакомый, а человек этот, видно, решил, что я не в своем уме, и поспешил прочь. Даже на приветствие мне не ответил!

Синтаро, похоже, был уверен, что это очень смешно, и громко расхохотался. Госпожа Каваками вежливо улыбнулась, но смеяться не стала, а повернулась ко мне и сказала:

— Сэнсэй, вы все-таки должны попытаться убедить ваших друзей снова начать приходить сюда! В самом деле, каждый раз, как встретится нам кто-то знакомый по старым временам, надо его остановить и предложить ему зайти в наш маленький бар. Может, тогда нам и удалось бы хотя бы отчасти восстановить атмосферу былых дней.

— А ведь это прекрасная мысль, Обасан! — воскликнул я. — Постараюсь все время об этом

помнить. Я, пожалуй, действительно буду останавливать людей на улице и говорить: «А ведь мы когда-то были знакомы. Вы тогда частенько в наши места заглядывали. А теперь, наверно, считаете, что там больше ничего нет? Ошибаетесь! Бар госпожи Каваками по-прежнему на месте, и все потихоньку налаживается».

— Вот именно, сэнсэй, — закивала головой госпожа Каваками. — Надо им говорить, как их тут не хватает! Тогда и дела пойдут гораздо лучше. В конце концов, это ведь ваш долг, сэнсэй, вернуть сюда ваших старых приятелей. Здесь ведь вас всегда за вожака считали.

— Это точно, Обасан, — заметил Синтаро. — В стародавние времена сёгун, видя, что войско его после битвы рассыпалось по полю, всегда спешил вновь собрать своих воинов вместе. Вот и вы, сэнсэй, сейчас примерно в таком положении.

— Чушь какая! — засмеялся я.

— Да нет, он совершенно прав, сэнсэй! — поддержала Синтаро госпожа Каваками. — Вы просто разыщите своих старых приятелей и скажите им, чтоб возвращались. А я вскоре прикуплю соседнее помещение, и будет у нас большое кафе, как раньше, как то, что когда-то стояло напротив.

— Действительно, сэнсэй, — снова сказал Син-

таро, — сёгун должен вновь собрать свое войско.

— Идея неплохая, Обасан, — согласился я. — Вы же знаете, ведь и «Миги-Хидари» было когда-то всего лишь крошечной забегаловкой. Не больше этого бара. Но со временем нам удалось превратить его в то роскошное кафе, которое вы с Синтаро помните. Что ж, наверное, придется еще раз сделать то же самое, но уже с вашим заведением. Теперь все понемногу возвращается на круги своя, вернутся и старые традиции и привычки.

— Вы могли бы снова приводить сюда своих друзей-художников, сэнсэй, — сказала госпожа Каваками, — а за художниками, глядишь, и газетчики потянутся.

— И это неплохая идея. И можно было бы попробовать ее осуществить. Вот только интересно, Обасан: а что, если вы просто не в состоянии будете управиться с таким большим кафе? Вдруг вам это окажется не по зубам? Нам бы очень этого не хотелось!

— Что за ерунда! — обиделась госпожа Каваками. — Если вы, сэнсэй, поторопитесь и выполните свою часть работы, то сразу увидите, как я все прекрасно здесь устрою!

С недавних пор подобные разговоры возникали у нас все чаще и чаще. Да и кто сказал, что

нашему старому «веселому кварталу» уже не суждено возродиться? Мы с госпожой Каваками, может, и любим пошутить на эту тему, но шутки наши всегда содержат изрядную долю здравого оптимизма. «Сёгун должен вновь собрать свое войско». Да, возможно, так и следует поступить. И когда вопрос о будущем Норико будет наконец решен, я, возможно, более внимательно отнесусь к идеям госпожи Каваками.

* * *

Наверное, тут как раз стоит упомянуть, что после войны я видел своего бывшего ученика и протеже Куроду всего один лишь раз, да и то совершенно случайно. Это было в первый год оккупации — еще до того, как «Миги-Хидари» и прочие здания в этом квартале были снесены. Как-то дождливым утром я шел куда-то, пробираясь сквозь груды мусора и поглядывая из-под зонта на стены полуразрушенных домов. Помнится, в тот день там было полно рабочих, и я сперва даже внимания не обратил на человека, что стоял и смотрел на одно из сгоревших зданий. И лишь проходя мимо него, я заметил, что он повернулся и вроде бы наблюдает за мной. Я замедлил шаг, вгляделся и сквозь струи дождя, стекавшие с мое-

го зонта, с изумлением увидел, что это Курода; он действительно смотрел на меня, но лицо его не выражало ровным счетом ничего.

Он стоял под зонтиком, без шляпы и в темном плаще. За спиной у него с обугленных останков зданий ручейками стекала вода, а из покореженной водосточной трубы рядом с ним с шумом изливался самый настоящий поток. Я помню, как между нами проехал грузовик, полный строительных рабочих. Помню еще, что одна из спиц зонта Куроды была сломана, из-за чего тонкая струйка воды падала с плеском прямо к его ногам.

Лицо Куроды, которое перед войной было почти круглым, теперь как бы втянулось внутрь; скулы сразу выпятились, глубокие морщины пролегли от носа к подбородку и на шее. И я подумал, глядя на него: «А ведь и Курода уже не молод».

Он слегка качнул головой — то ли поклонился, то ли попытался увернуться от струйки воды, стекавшей со сломанного зонта. Не могу сказать с уверенностью. Затем он молча повернулся и пошел прочь.

Впрочем, я совсем не собирался рассказывать о Куроде. Я бы и не вспомнил о нем, если бы в прошлом месяце не встретился случайно в трамвае с

доктором Сайто, который и упомянул в разговоре его имя.

Как раз в тот день я повел Итиро смотреть обещанный фильм про чудовище — тот самый, на который мы не пошли накануне из-за упрямства Норико. В кино мы с внуком отправились вдвоем, поскольку Норико идти отказалась, а Сэцуко опять предпочла остаться дома. Со стороны Норико это был, конечно, просто детский каприз, хотя Итиро истолковал поведение женщин по-своему и в тот день за обедом все повторял:

— Тетя Норико и мама с нами в кино не пойдут. Для женщин это слишком страшный фильм. Они бы все время боялись, верно, дед?

— Да, я думаю, ты прав, Итиро.

— Они бы ужасно боялись! Тетя Норико, ведь правда ты бы ужасно боялась?

— Ой, еще бы! — Норико сделала испуганное лицо.

— Даже дед боится. Посмотри, видишь, как он боится? А ведь он мужчина!

В тот день, стоя в конце дорожки у калитки и поджидая Итиро, я случайно стал свидетелем странной сцены между Итиро и Сэцуко. Пока Сэцуко шнуровала моему внуку сандалии, он явно старался ей что-то сказать, но стоило ей

спросить: «Ну что, Итиро? Я не слышу?», как он гневно смотрел на нее и бросал быстрый взгляд в мою сторону, словно проверяя, могу ли я услышать. Наконец сандалии были зашнурованы, и Сэцуко наклонилась так, чтобы Итиро мог прошептать ей свою просьбу прямо в ухо. Выслушав его, она кивнула, ушла в дом и через минуту вернулась, неся свернутый плащ, который и вручила Итиро.

— Дождь вряд ли пойдет, — заметил я, глядя в небо. Денек действительно был замечательный.

— На всякий случай, — сказала Сэцуко, — Итиро все-таки хочет взять с собой плащ.

Меня несколько озадачило столь настойчивое желание моего внука, но, когда мы уже топали по солнцепеку к трамвайной остановке, я заметил, как важно выступает Итиро. Наверное, ему казалось, что торчащий у него из-под мышки плащ делает его похожим на Хамфри Богарта[5], подумал я и решил, что он изображает кого-то из героев его любимых комиксов.

Кажется, мы уже почти спустились с холма, когда Итиро вдруг громко заявил:

---

[5] Примечания: 5

Хамфри Богарт (1900–1957) — архетипический «крутой парень» американского кинематографа 1940 — 1950-х гг., воплощение образа хладнокровного индивидуалиста.

— А ведь ты, дед, был знаменитым художником!

— Полагаю, что да, довольно известным.

— Я попросил тетю Норико показать мне твои картины. А она не захотела!

— Хм… Они все пока что убраны.

— Тетя Норико непослушная, верно, дед? Я же так просил ее показать мне твои картины! Почему же она не захотела?

Я рассмеялся и сказал:

— Не знаю, Итиро. Возможно, она была чем-то занята.

— Нет, просто она непослушная!

Я снова засмеялся и подтвердил:

— Да, пожалуй, ты прав, Итиро.

От нашего дома до трамвайной остановки минут десять ходу; сперва нужно спуститься с холма к реке, а потом немного пройти вдоль новой набережной; северная трамвайная линия пересекает улицу как раз напротив рекламного щита со схемой новой застройки. И вот как раз в тот солнечный день, месяц назад, мы с внуком сели в трамвай, идущий к центру города, и в вагоне случайно встретились с доктором Сайто.

Но я, кажется, пока что почти ничего не рассказал о семействе доктора Сайто, а ведь старший

сын доктора как раз и является предполагаемым женихом Норико. Да, это семейство, с которым мы сейчас ведем брачные переговоры, весьма сильно отличается от семейства Миякэ, хотя те, конечно, тоже были людьми вполне порядочными, но вряд ли пользовались хоть каким-то авторитетом. Тогда как семейство Сайто безо всяких преувеличений занимает высокое положение в обществе. Хотя мы с доктором Сайто и не были прежде близко знакомы, я всегда следил за его деятельностью в мире искусства; в течение многих лет мы всегда при встрече обменивались самыми вежливыми приветствиями, как бы подтверждая, что прекрасно знаем о высокой репутации друг друга. Но, разумеется, в прошлом месяце, когда мы случайно встретились в трамвае, обстоятельства уже весьма сильно изменились.

Народу в трамвае было относительно немного, пока он не перебрался по стальному мосту через реку к вокзалу Танибаси, и доктор Сайто, севший через одну остановку после нас, спокойно смог занять свободное место рядом со мной. Естественно, разговор у нас сперва не очень-то клеился, ибо брачные переговоры находились на самой ранней и весьма деликатной стадии и не стоило

пока в открытую касаться этой темы; с другой стороны, нелепо было бы и делать вид, будто никаких переговоров вообще не ведется. В конце концов, мы оба похвалили «нашего общего друга, господина Кио» — это наш посредник, — и доктор Сайто сказал с улыбкой:

— Надеюсь, мы вскоре снова встретимся, благодаря усилиям господина Кио. — Больше никаких разговоров на эту тему мы себе не позволили. Надо сказать, я не мог не заметить, как резко отличалось уверенное поведение доктора Сайто даже в этой, несколько неловкой ситуации от нервозной и порой просто нелепой манеры держаться, свойственной всем членам семейства Миякэ, с чем мы и столкнулись в прошлом году во время тех неудачных переговоров. Я считаю, что, вне зависимости от конечного результата, всегда чувствуешь себя как-то спокойнее, если имеешь дело с такими людьми, как доктор Сайто.

В трамвае мы, разумеется, говорили в основном о пустяках. Доктор Сайто вел себя очень мило и естественно, и когда он наклонился к Итиро и стал спрашивать, как ему нравится у нас в гостях и какой фильм он сейчас едет смотреть, мой внук отвечал ему весьма охотно.

— Какой хороший мальчик! — одобрительно

сказал доктор Сайто, поворачиваясь ко мне.

А буквально за минуту до нужной ему остановки-он даже шляпу уже успел надеть — заметил:

— А знаете, у нас, оказывается, есть еще один общий знакомый. Некто господин Курода.

Я посмотрел на него в некотором замешательстве.

— Господин Курода… — эхом откликнулся я. — Ну да, конечно, это наверняка тот самый господин, который когда-то у меня учился.

— Вы правы. Я недавно с ним встречался, и в разговоре он случайно упомянул ваше имя.

— Вот как? А я давненько его не видал. В последний раз мы, по-моему, встречались еще до войны. И как же теперь поживает господин Курода? Чем он занимается?

— Насколько я знаю, он должен вот-вот получить место преподавателя живописи в школе Уэмати. Собственно, там я с ним и столкнулся. Руководство школы любезно попросило меня посмотреть список претендентов и посоветовать, кого лучше взять.

— Так вы не очень близко знакомы с господином Курода?

— Конечно нет. Но, надеюсь, в будущем мы с ним будем видеться гораздо чаще.

— Вот как? — сказал я. — Значит, господин Курода меня все еще помнит. Как это мило с его стороны.

— Да, безусловно. Он упомянул ваше имя во время общего обсуждения какой-то проблемы. Но возможности как следует поговорить у нас тогда не случилось. Впрочем, если я снова его увижу, то непременно скажу, что видел вас.

— Да-да, непременно скажите.

Трамвай как раз шел по стальному мосту; колеса громко постукивали. Итиро, стоя на коленях и глядя в окно, вдруг указал на воду, мелькавшую внизу, и доктор Сайто нагнулся к нему — посмотреть, что там такое. Потом он еще что-то сказал мальчику и поспешно поднялся, поскольку трамвай уже подходил к остановке. На прощанье он снова выразил надежду на «успех усилий нашего общего друга, господина Кио», поклонился и прошел к выходу.

Как всегда, на этой остановке — сразу после моста — в трамвай село очень много народу, и дальше мы ехали уже в битком набитом вагоне. Как только мы вышли из трамвая — прямо напротив кинотеатра, — я тут же увидел ту афишу с чудовищем. Надо сказать, что мой внук достиг весьма близкого сходства с оригиналом,

изображая его по моей просьбе два дня назад, хотя никакого пожара на афише я не заметил, а зигзагообразные линии, похожие на молнии и столь сильно запомнившиеся Итиро, художник изобразил, видимо, для того, чтобы подчеркнуть свирепость и мощь гигантского ящера.

Итиро подошел к афише поближе и вдруг громко рассмеялся.

— И сразу видно, что это чудовище ненастоящее! — крикнул он, показывая пальцем. — Любой тебе скажет, дед, что оно сделанное! — И он снова засмеялся.

— Итиро, пожалуйста, не так громко. На тебя все смотрят.

— Но это же просто смешно, до чего это чудовище выглядит ненастоящим! Разве может оно кого-то напугать?

И лишь когда мы уже сидели в зале, уже после начала фильма, я понял наконец, зачем Итиро брал с собой плащ. Минут через десять, когда послышалась зловещая музыка и на экране в клубах тумана появилась темная пещера, Итиро шепнул мне:

— Какая скука! Ты мне скажи, когда будут показывать что-нибудь поинтереснее, ладно?

И с этими словами он исчез под плащом,

накрывшись им с головой. Через минуту послышался рев, и из пещеры показался гигантский ящер. Ручонка Итиро крепко вцепилась в мою руку, и я, искоса глянув на него, увидел, что второй рукой он изо всех сил сжимает края плаща, чтобы даже щелочки не осталось.

Почти весь сеанс он так и просидел под плащом. Иногда он дергал меня за руку и спрашивал из своего убежища:

— Ну что, интересней не стало? — И мне приходилось наклоняться к нему и шепотом описывать происходящее на экране, и тогда в складках плаща появлялась маленькая щелка. Но при малейшем намеке на появление чудовища щелка немедленно закрывалась и мой внук заявлял: — Нет, опять скучно. Не забудь сказать, когда снова станет интереснее.

Впрочем, когда мы вернулись домой, Итиро рассказывал о фильме с огромным энтузиазмом.

— Это самый лучший фильм из всех, какие я видел! — повторял он. Даже за ужином он все еще продолжал излагать свою собственную его версию, то и дело спрашивая: — Тетя Норико, мне рассказывать дальше? Дальше ведь ОЧЕНЬ СТРАШНО! Рассказывать или нет?

— Ты меня и так уже напугал, Итиро. Я даже

есть не могу, — отвечала Норико.

— Предупреждаю: дальше будет еще страшнее! Ну что, рассказывать?

— Ох, прямо не знаю, Итиро! Ты так меня пугаешь!

Собственно, я совершенно не собирался затевать за ужином какой-то серьезный разговор, но не упомянуть о нашей случайной встрече с доктором Сайто, рассказывая о событиях дня, было бы просто неестественно, и, когда Итиро на минутку умолк, я заметил невзначай:

— Кстати, в трамвае мы встретились с доктором Сайто. Он ехал в город по каким-то своим делам.

Обе мои дочери тут же забыли об ужине и удивленно уставились на меня.

— Но ни о чем существенном мы не говорили, — усмехнувшись, поспешил я их успокоить. — Правда, не говорили. Просто обменялись любезностями, вот и все.

Дочерей мои слова, похоже, не убедили, однако они вновь принялись за еду. Потом Норико быстро глянула на свою старшую сестру, и Сэцуко спросила:

— Здоров ли доктор Сайто?

— По-моему, да.

Некоторое время мы ужинали молча, затем

Итиро опять принялся рассказывать о фильме. В общем, лишь под конец ужина я продолжил:

— Да, вот еще: оказывается, доктор Сайто встретил на днях одного из моих бывших учеников. Куроду. Похоже, Курода получит место в этой новой школе.

Я поднял глаза и увидел, что мои дочери опять перестали есть и настороженно переглядываются. И я снова — в который уже раз за последний месяц — отчетливо почувствовал, что они давно уже обсуждают друг с другом нечто важное, касающееся именно меня.

Позже вечером, когда мы сидели за столом и читали свои газеты и журналы, наше внимание привлек какой-то глухой ритмичный стук, доносившийся из глубины дома. Норико тревожно вскинула глаза, но Сэцуко поспешила ее успокоить:

— Это Итиро. Он всегда так ведет себя, когда уснуть не может.

— Бедняжка, — пожалела племянника Норико. — Ему, наверное, чудовище мерещится. Зря ты, папа, потащил его на такой фильм.

— Ерунда! — возразил я. — Фильм ему очень понравился.

— А по-моему, папа, тебе самому больше всех

хотелось его посмотреть, — усмехнулась Норико, поглядывая на сестру. — Бедный Итиро! Повели ребенка в кино, называется!

Сэцуко растерянно посмотрела на меня.

— Но это так мило, что папа сходил с Итиро в кино, — пролепетала она.

— То-то он теперь и уснуть не может! — не сдавалась Норико. — Нет, это просто даже странно — тащить ребенка на такой фильм! Сиди, сиди, Сэцуко, я сама к нему схожу.

Сэцуко посмотрела вслед сестре и сказала:

— Норико всегда отлично умела ладить с детьми... Итиро будет по ней скучать, когда мы вернемся домой.

— Да, наверное.

— У нее это всегда здорово получалось. Помнишь, папа, как она играла с малышами Киноситы?

— Еще бы! — откликнулся я со смехом. И прибавил: — Только сыновья Киноситы теперь так выросли, что сюда уже и не заглядывают.

— Да, она всегда отлично умела ладить с детьми, — повторила Сэцуко. — Как грустно, что ей уже столько лет, а она все еще не замужем!

— Это верно. Война сыграла с ней злую шутку.

Мы некоторое время молчали, уткнувшись

каждый в свою газету, потом Сэцуко снова заговорила:

— Так значит, вы с доктором Сайто сегодня совершенно случайно в трамвае встретились? Он, по-моему, очень приятный человек.

— Да, очень. И сын его во всех отношениях достоин отца.

— Правда? — задумчиво проговорила Сэцуко. Мы еще какое-то время читали. Но долго молчать моя дочь явно не могла.

— Оказывается, доктор Сайто знаком с господином Куродой? — спросила она.

— Шапочно, — сказал я, не поднимая глаз от газеты. — Им, похоже, доводилось и раньше встречаться.

— Интересно, как теперь поживает господин Курода? Помнится, раньше он часто приходил сюда, и вы с ним часами беседовали в гостиной.

— К сожалению, сейчас я совершенно ничего о нем не знаю.

— Извини, папа, но я вот что хочу спросить: может быть, тебе стоило бы как-нибудь на днях посетить господина Куроду?

— Кого посетить?

— Господина Куроду. И, возможно, еще кое-кого из твоих старых знакомых.

— Я что-то не совсем понимаю, куда ты клонишь, Сэцуко.

— Извини, папа, мне просто показалось, что у тебя может возникнуть желание повидаться кое с кем из своих старых знакомых. До того как с ними побеседуют детективы, нанятые семейством Сайто. В конце концов, нам ведь не хочется, чтобы между нашими семьями возникло недопонимание, не правда ли?

— Естественно, не хочется, — только и сказал я, вновь утыкаясь в газету.

Больше мы в тот вечер, насколько я помню, на эту тему не говорили. И Сэцуко ни разу не затрагивала ее до самого своего отъезда.

Вчера, когда я ехал на трамвае в Аракаву, вагон насквозь пронизывали лучи осеннего солнца. В Аракаву я не ездил, наверное, с конца войны и теперь, глядя в окно, замечал множество перемен в таком знакомом некогда пейзаже. Проезжая по районам Тодзака-тё и Сакаэмати, я видел, что деревянные домишки, памятные мне с давних пор, со всех сторон окружены громадами многоквартирных кирпичных домов. А когда мы проезжали задами фабрик в Минамимати, то многие цеха показались мне совершенно заброшенными; на заводских дворах валялись груды ломаных досок,

ржавого листового железа и просто мусора.

Но, как и прежде, стоило трамваю перебраться на тот берег реки по мосту компании «Ти-Эйч-Кей», и пейзаж сразу сильно изменился. Теперь вдоль трамвайной линии тянулись поля с редкими зелеными деревьями, а вскоре у подножия большого пологого холма завиднелась и сама Аракава. Здесь у трамвая была конечная остановка. Он медленно спустился с холма, остановился, и я, выйдя из вагона на чисто выметенный тротуар, с радостью почувствовал, что большой город остался далеко позади.

Аракава, насколько я знаю, полностью избежала бомбежек; и вчера мне показалось, что это местечко действительно выглядит в точности как и прежде. Короткая прогулка вверх по склону холма под сенью чудесных вишневых деревьев — и я уже стоял у дома Тису Мацуды. Дом, по-моему, тоже ничуть не изменился.

У Мацуды дом не такой большой, как у меня, и не отличается столь эксцентричной архитектурой; это типичный образец солидного особняка, каких в Аракаве немало. Он построен на принадлежащем Мацуде довольно большом участке земли на приличном расстоянии от соседних особняков и со всех сторон окружен дощатой

изгородью. У ворот целые заросли азалий и толстый каменный столб, сильно ушедший в землю; на столбе написаны имена тех, кто здесь проживает. Я позвонил в колокольчик, и ко мне вышла незнакомая женщина лет сорока. Она проводила меня в гостиную, раздвинула перегородку, отделявшую ее от веранды, впустив в комнату солнечные лучи и предоставив мне возможность любоваться садом, раскинувшимся за порогом. Затем сказала:

— Господин Мацуда сейчас придет, — и вышла.

Я познакомился с Мацудой, когда жил на вилле Сэйдзи Мориямы, куда мы с Черепахой переселились, покинув фирму Такэды. Вообще-то, когда Мацуда впервые появился на вилле, я прожил там, наверное, уже лет шесть. В тот день с самого утра шел дождь, и наша компания коротала время за выпивкой и игрой в карты. Вскоре после обеда, когда мы откупорили очередную большую бутылку, со двора послышался чей-то незнакомый голос, звучный и уверенный.

Мы тут же примолкли, испуганно переглядываясь, поскольку все подумали одно и то же: это полиция, и сейчас нам здорово влетит. Глупо, конечно, было так пугаться, ведь никаких преступлений мы не совершали, если не считать

словесных поединков с теми, кто осмеливался вслух порицать наш образ жизни — скажем, где-нибудь в баре; в таком случае любой из нас мог дать оскорбителю вдохновенный и сокрушительный отпор. И все же уверенный голос, вопрошавший со двора: «Есть кто-нибудь дома?», застал нас врасплох, пробудив чувство вины за то, как допоздна мы засиживались за выпивкой, как по большей части спали до полудня, — словом, за весь наш беспорядочный стиль жизни на этой старой вилле.

Так что лишь через несколько минут один из моих приятелей, находившийся ближе всего к дверям, высунулся наружу, обменялся с пришельцем несколькими фразами и, обернувшись, окликнул меня:

— Эй, Оно! Там какой-то джентльмен тебя спрашивает.

Я вышел на веранду и увидел молодого человека с тонким красивым лицом, примерно моего ровесника, стоявшего посередине нашего просторного квадратного двора. У меня в памяти навсегда сохранился этот миг — когда я впервые увидел Мацуду. Дождь как раз прекратился, выглянуло солнце, и повсюду вокруг него блестели лужицы воды, а земля была усыпана иголками

кедров, росших вокруг виллы. Для полицейского Мацуда был одет чересчур франтовато: идеального покроя пальто с приподнятым сзади воротником, шляпа надвинута на глаза в этакой шутливой артистической манере. Когда я вышел к нему, он с интересом озирался, и по тому, как он это делал, в моей душе сразу же зародилось подозрение, что передо мной человек довольно самоуверенный и надменный. Заметив меня, он неторопливо направился к веранде.

— Господин Оно?

Я спросил, чем могу быть ему полезен. Он обернулся, еще раз огляделся и сказал мне с улыбкой:

— Интересное место. Этот дом когда-то был, наверное, просто великолепен. И владел им кто-то очень богатый и знатный.

— Это правда.

— Господин Оно, меня зовут Тису Мацуда. Вообще-то мы с вами когда-то даже состояли в переписке. Я работаю в обществе «Окада-Сингэн»[6].

Общества «Окада-Сингэн» больше нет — это одна из многих подобных жертв оккупационных властей; но вы, вполне возможно, слышали о

---

[6] Примечания: 6
Okada Shingen *(яп.)* — Новый путь.

нем или, по крайней мере, о тех выставках, которые до войны это общество устраивало каждый год. Выставка «Окада-Сингэн» какое-то время была единственным местом в нашем городе, где начинающие художники, как живописцы, так и графики, могли представить свои работы и попытаться завоевать признание публики. Эта выставка пользовалась столь высокой репутацией, что в последние предвоенные годы даже многие ведущие художники старались выставить там свои работы рядом с работами новичков. Как раз в связи с предстоящей выставкой мне и прислали письмо из общества «Окада-Сингэн». Случилось это несколько недель назад, и на письмо я уже ответил.

— Мне ваш ответ показался несколько странным, господин Оно, — сказал Мацуда, — вот я и решил сам заехать к вам и выяснить, в чем, собственно, дело.

Я холодно на него посмотрел:

— По-моему, в своем письме я достаточно четко обозначил свою позицию. Впрочем, с вашей стороны было весьма любезно меня навестить.

Мацуда улыбнулся, и от уголков его глаз сразу разбежались лучики морщинок.

— Господин Оно, — сказал он, — по-моему, вы

отказываетесь от весьма важной возможности укрепить свою репутацию. Прошу вас, объясните мне следующую вещь: когда вы так твердо заявили, что не желаете иметь с нами ничего общего, это было ваше личное мнение? Или, может быть, это мнение, навязанное вашим учителем?

— Естественно, я прислушиваюсь к советам своего учителя, — спокойно ответил я. — И я совершенно уверен, что решение, о котором я сообщил вам в письме, является единственно правильным. Вы были чрезвычайно любезны, приехав сюда, но, к сожалению, я сейчас очень занят и не могу пригласить вас войти. А потому позвольте откланяться и пожелать вам всего наилучшего.

— Погодите минутку, господин Оно, прошу вас, — сказал, улыбаясь, Мацуда. Теперь улыбка его выглядела откровенно насмешливой. Он на несколько шагов приблизился к веранде и, подняв голову, посмотрел мне прямо в лицо. — Честно говоря, вопрос о выставке меня совершенно не волнует. Там и без вас хватает достойных художников. Я приехал сюда, господин Оно, просто потому, что хотел с вами познакомиться.

— Правда? Как это мило!

— Да, я действительно хотел с вами познако-

миться и сказать, что ваши работы, которые мне удалось посмотреть, произвели на меня глубокое впечатление. По-моему, у вас большой талант, господин Оно.

— Вы слишком добры. А я, несомненно, очень многим обязан своему замечательному учителю.

— Несомненно. А теперь, господин Оно, давайте забудем об этой выставке. Вы должны понять, что я не просто сотрудник «Окада-Сингэн», не просто чиновник, а истинный любитель искусства. И обладаю собственными убеждениями и пристрастиями. А потому, когда я порой, хотя это случается и нечасто, встречаю проявление истинного таланта, это по-настоящему меня волнует, и я испытываю потребность что-то сделать для такого человека. Мне бы хотелось обсудить с вами кое-какие идеи, господин Оно. Вам эти идеи, возможно, даже в голову никогда не приходили, но, осмелюсь предположить, они окажутся весьма полезными для вашего развития как художника. Впрочем, не стану более вас задерживать. Позвольте мне лишь оставить вам свою визитную карточку с номером телефона.

Он достал из бумажника карточку, положил ее на краешек веранды, коротко кивнул и удалился. Но, дойдя до середины двора, вдруг обернулся и

крикнул мне:

— Прошу вас, отнеситесь к моей просьбе внимательно, господин Оно. Я ведь всего лишь хочу обсудить с вами кое-какие идеи, ничего больше.

Это случилось почти тридцать лет назад; мы оба были тогда молоды и честолюбивы. А вот вчера Мацуда выглядел совсем иначе. Недуги истерзали его тело, а некогда красивое надменное лицо сильно портило то, что дрожащая нижняя челюсть, казалось, никак не могла соединиться с верхней. Мацуда вошел в гостиную в сопровождении той женщины, что впустила меня в дом. Она помогла ему сесть поудобнее и ушла. Когда мы остались одни, он посмотрел на меня и сказал:

— Ты, похоже, хорошо сохранился. Должно быть, следил за своим здоровьем. А я, как видишь, стал сущей развалиной со времен нашей последней встречи.

Я выразил ему сочувствие, но постарался заверить его, что выглядит он совсем не так плохо.

— Не дури мне голову, Оно, — возразил он с улыбкой — Уж я-то знаю, как быстро тают мои силы.

И похоже, сделать уже ничего нельзя. Приходится просто ждать и смотреть, сумеет ли мое тело выкарабкаться или же мне станет еще ху-

же. Все, хватит о грустном. Я, правда, несколько удивлен тем, что ты вдруг решил навестить меня. Расстались мы, по-моему, далеко не друзьями.

— Вот как? Но ведь мы, кажется, не ссорились?

— Разумеется, нет. С какой бы стати нам ссориться? И я очень рад, что ты снова заглянул ко мне. Мы, должно быть, уж года три как не виделись.

— Да, примерно так. Но я и не думал избегать тебя. Я давно уже к тебе собирался, но то одно, то другое…

— Естественно, — сказал Мацуда. — Ведь забот у тебя хватает. Ты уж прости, что я не смог присутствовать на похоронах Митико-сан. Я все хотел написать, выразить свои соболезнования… Но дело в том, что я узнал о случившемся лишь спустя несколько дней. И потом, естественно, мое собственное здоровье…

— Да, конечно, я понимаю. Да Митико наверняка даже смутили бы чересчур многолюдные похороны. Во всяком случае, она знала, как ты к ней относишься.

— Я помню, как вас с ней знакомили. — Он улыбнулся и покивал головой. — Знаешь, Оно, я тогда так радовался за вас.

— Это правда, я помню, — я тоже улыбнулся.

— Да ты же нас и сосватал. А вот твой дядюшка с этой задачей справиться не сумел.

— Верно, — улыбнулся Мацуда. — Как приятно снова все это вспомнить! Дядя все время так терялся, что ничего не мог толком ни сказать, ни сделать — тут же багровел и умолкал. Помнишь, как это выглядело на вашей предсвадебной встрече в отеле «Янагимати»?

Мы оба немного посмеялись, и я сказал:

— Да, ты тогда очень много для нас сделал. Вряд ли без тебя все это так хорошо бы закончилось. Митико всегда вспоминала о тебе с благодарностью.

— Как все-таки это ужасно! — вздохнул Мацуда. — Погибнуть, когда война почти уже кончилась! Я слышал, это был какой-то внезапный налет?

— Да. И больше почти никто не пострадал. Это действительно ужасно, ты правильно сказал.

— Прости. Я невольно разбудил горькие воспоминания…

— Нет, ничего. Мне даже приятно поговорить о ней с тобой. Я сразу вижу ее такой, какой она была когда-то.

— Да, понимаю.

Все та же женщина принесла нам чай. Когда она ставила на столик поднос, Мацуда сказал ей:

— Госпожа Судзуки, это мой старый коллега. Когда-то мы были очень близкими друзьями.

Женщина повернулась ко мне и поклонилась.

— Госпожа Судзуки у меня и домоправительница, и нянька, — отрекомендовал ее Мацуда. — Только благодаря ей я все еще дышу.

Госпожа Судзуки тихонько засмеялась, еще раз поклонилась и ушла.

После ее ухода мы несколько минут сидели молча и смотрели в сад — перегородки госпожа Судзуки предусмотрительно раздвинула. С того места, где я сидел, была видна пара соломенных сандалий, оставленных на веранде в солнечном пятне, но самого сада видно почти не было, и мне даже захотелось встать и выйти на веранду. Понимая, однако, что Мацуда тоже наверняка захочет пойти со мной, а сделать это ему будет мучительно трудно, я решил остаться на месте; сидел и думал, сильно ли изменился его сад, или остался таким, как прежде. Насколько я его помнил, он хоть и был невелик, но обустроен с большим вкусом: лужайка, заросшая мягким мхом, несколько небольших изящной формы деревьев и глубокий пруд. Сидя рядом с Мацудой, я услышал снаружи характерный всплеск и собрался было спросить, по-прежнему ли он

держит в пруду карпов, как он заговорил сам:

— Я не преувеличивал, сказав, что обязан госпоже Судзуки жизнью. Не единожды ее вмешательство было решающим. Видишь ли, мне удалось, несмотря ни на что, сохранить кое-какое имущество и сбережения, и в результате я в состоянии платить госпоже Судзуки достойное жалованье. Далеко не многим так повезло. Богачом меня, конечно, назвать нельзя, но если бы я узнал, что кто-то из моих старых коллег испытывает трудности, то сделал бы все, что в моих силах, чтобы ему помочь. В конце концов, у меня ведь нет детей, и деньги оставлять некому.

Я рассмеялся:

— Ты все тот же, Мацуда! Такой же прямолинейный. Спасибо, ты, право, очень добр, но меня привели к тебе совсем иные проблемы. Мне ведь тоже удалось сберечь свое имущество.

— Вот как? Рад это слышать! А помнишь Наканэ, директора Императорской школы Минами? Мы с ним время от времени видимся. Он сейчас только что не нищенствует. Хотя, конечно, пытается делать вид, что у него все в порядке. Живет, правда, исключительно взаймы.

— Как все это ужасно!

— Да уж, на нашу долю выпало немало неспра-

ведливостей, — сказал Мацуда. — И все же мы оба, к счастью, умудрились сохранить свое состояние. А у тебя, Оно, и вовсе хватает причин быть благодарным судьбе. Тебе, похоже, удалось сохранить еще и здоровье.

— Ты прав, — кивнул я, — у меня действительно хватает причин быть благодарным судьбе.

Из пруда снова донесся плеск воды, и я подумал: это, наверное, просто птицы плещутся у бережка.

— У тебя сад даже звучит совсем иначе, чем мой, — заметил я. — Сразу понимаешь, что находишься за городом.

— Неужели? А я уж почти и не помню, как звучит большой город. В последние годы весь мой мир — это дом и сад.

— А вообще-то, я ведь действительно пришел к тебе за помощью, — признался я. — Хотя и не за той, какую ты предлагал.

— Ты, я вижу, все же обиделся. — Мацуда понимающе покивал. — Все как всегда.

Мы оба засмеялись, и он спросил:

— Ну, и что же я могу для тебя сделать?

— Понимаешь, — начал я, — Норико, моя младшая дочь, собирается замуж, и в данный момент брачные переговоры в самом разгаре.

— Вот как?

— Честно говоря, я немного из-за нее беспокоюсь. Ей ведь уже двадцать шесть. Эта война все так усложнила! Если бы не война, Норико, без сомнения, давно бы уже была замужем.

— Мне кажется, я помню госпожу Норико. Но ведь она была совсем маленькой девочкой — и уже двадцать шесть! Да, ты правильно сказал: эта война все страшно усложнила.

— В прошлом году она уже почти вышла замуж, — продолжал я, — но сторона жениха в самый последний момент прервала переговоры. И раз уж пошел такой разговор, скажи, не обращался ли к тебе кто-нибудь в прошлом году с вопросами о Норико? Конечно, наглость — спрашивать об этом, но…

— Никакой наглости я в этом не вижу. И вполне тебя понимаю. Нет, ко мне никто не обращался. Хотя почти весь прошлый год я проболел. Если кто-то из детективов и появлялся, то госпожа Судзуки наверняка отослала его прочь.

Я кивнул и сказал:

— Вполне возможно, что к тебе кто-нибудь в самом ближайшем будущем все же заявится.

— Да? Ну что ж, я готов дать о твоей семье самый лучший отзыв. В конце концов, мы ведь с

тобой когда-то отлично сотрудничали.

— Спасибо большое.

— Это хорошо, что ты навестил меня, — сказал он. — Хотя, если речь идет о замужестве госпожи Норико, на мой счет ты мог бы не беспокоиться. Пусть мы расстались не наилучшим образом, но это не должно стоять между нами. И, естественно, я в любом случае отозвался бы о тебе самым лестным образом.

— Я в этом не сомневался, — сказал я искренне. — Ты всегда был человеком великодушным.

— И я рад, что эта маленькая проблема послужила причиной восстановления наших отношений.

Мацуда с некоторым усилием протянул руку и налил нам еще чаю. Некоторое время мы молчали, потом он спросил:

— Извини, Оно, но, по-моему, тебя еще что-то тревожит?

— Тебе так кажется?

— Еще раз извини за прямоту, но дело в том, что скоро явится госпожа Судзуки и скажет, что мне пора отдыхать. Боюсь, я и впрямь пока не в состоянии подолгу принимать гостей, даже если это мои старые друзья и коллеги.

— Да, конечно, это ты меня извини. Я совершен-

но не принял во внимание…

— Не пори чепуху, Оно! Сиди, время еще есть. Да и не можешь ты просто так уйти — это я к тому, что у тебя явно еще что-то на уме, и лучше уж ты говори поскорее. — Он вдруг рассмеялся и сказал: — Нет, честное слово, у тебя такой вид, словно ты просто в ужасе от моих отвратительных манер!

— Ничего подобного! Это я проявил редкостную бестактность. Хотя я действительно пришел поговорить только о предстоящем замужестве Норико.

— Ну-ну.

— Но, видишь ли, — решился я, — в этом деле могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Такие переговоры — дело вообще деликатное, и я был бы тебе исключительно признателен, если бы ты как можно осторожнее отвечал на любые вопросы, которые тебе зададут.

— Естественно! — Мацуда смотрел прямо на меня, и в глазах его играли веселые искорки. — Я буду отвечать исключительно осторожно.

— Особенно на вопросы относительно прошлого.

— Но я ведь уже сказал, — и в голосе Мацуды послышался холодок, — что в любом случае имею сообщить о вашей семье только самое наилуч-

шее.

— Да, конечно.

Мацуда еще некоторое время пристально смотрел на меня, потом вздохнул и сказал:

— В последние три года я этот дом практически не покидаю, но по-прежнему внимательно слежу за тем, что происходит в нашей стране. И прекрасно понимаю, что сейчас кое-кто готов осудить таких, как мы с тобой. Причем именно за те достижения, которыми мы когда-то так гордились. Я думаю, Оно, именно это тебя и тревожит. Ты, наверное, думаешь, что я стану восхвалять тебя за то, что, возможно, лучше было бы забыть?

— Ничего подобного, — торопливо возразил я. — Нам обоим действительно есть чем гордиться. Просто речь идет о брачных переговорах, и нужно учитывать деликатность ситуации. Впрочем, ты меня совершенно успокоил. И я знаю, что твои суждения в любом случае будут в высшей степени разумны.

— Разумеется, я сделаю все, что в моих силах, — кивнул Мацуда. — Но нам ведь с тобой и впрямь кое-чем следовало бы гордиться, Оно. Не обращай внимания на то, что сегодня болтают люди. Еще совсем немного, буквально несколько лет, и такие, как мы, смогут высоко держать голову,

помня о том, что пытались сделать. Мне остается лишь надеяться, что я сумею дожить до этого дня. Мое заветное желание — увидеть, как полностью реабилитируют то, на что я потратил всю свою жизнь.

— Еще бы! И я испытываю в точности те же чувства. Но в том, что касается брачных переговоров…

— Я ведь уже сказал, — прервал меня Мацуда, — я проявлю особую осторожность и вообще — сделаю все, что в моих силах.

Я с благодарностью ему поклонился, и после небольшой паузы он спросил:

— Но скажи мне, Оно: если ты именно из-за переговоров так беспокоишься о своем прошлом, то ведь наверняка ты посетил и еще кое-кого из старых знакомых?

— Нет, ты первый, к кому я пришел. Я и понятия не имею, где теперь большая часть наших старых друзей.

— Ну а Курода? Мне кажется, он по-прежнему живет в нашем городе.

— Вот как? Я с ним не общался с тех пор, как… в общем, с войны.

— Если нас с тобой тревожит будущее госпожи Норико, то Куроду, наверное, все-таки стоило бы

разыскать. Как бы это ни было тебе неприятно.

— Ты прав. Но я совершенно не представляю, где он живет.

— Понятно. Что ж, будем надеяться, что их детектив тоже этого себе совершенно не представляет. Хотя порой эти детективы весьма предприимчивы.

— Это верно…

— Оно, да ты же бледен как смерть! А выглядел таким здоровяком, когда пришел. Вот что значит — общаться с тяжелобольным!

Я рассмеялся:

— Ничего подобного! Просто дети порой — такая головная боль!

Мацуда снова вздохнул и сказал:

— Мне иногда говорят, что я многое в жизни потерял, потому что так и не женился и детей не завел. Но стоит мне посмотреть вокруг, и уже кажется, что дети — это одно сплошное беспокойство.

— Ты не так уж далек от истины.

— И все же приятно было бы думать, что можешь оставить свои сбережения детям.

И это правда.

Прошло еще несколько минут, и, как и предсказывал Мацуда, появилась госпожа Судзуки

и что-то тихонько ему сказала. Он с покорным видом кивнул, улыбнулся мне и сказал:

— Ну вот, сейчас моя няня меня уведет. Но ты, разумеется, можешь оставаться здесь сколько угодно. Ты уж извини меня, Оно.

Позже, ожидая на конечной остановке трамвая, чтобы подняться вверх по крутому склону холма в город, я испытывал приятный покой, вспоминая, как Мацуда сказал, что он «в любом случае имеет сообщить о нашей семье только самое наилучшее». Я, конечно, и так мог бы не сомневаться в этом, но все же неплохо иногда повидаться со старым приятелем и восстановить с ним контакт. В общем, я не зря съездил вчера в Аракаву!

Апрель, 1949

Три-четыре раза в неделю, гуляя по вечерам, я, как прежде, выбираю ту тропу, что ведет вниз, к реке и деревянному мостику, известному тем, кто жил здесь до войны, как Мост Сомнений. Мы называли его так потому, что еще совсем недавно было достаточно пройти по нему на тот берег, и ты попадал в наш «веселый квартал»; ну, а те, кого, так сказать, мучила совесть, долго стояли на мосту, раздираемые сомнениями: то ли предаться вечерним развлечениям, то ли вернуться домой, к жене. Но если порой и меня можно было увидеть на Мосту Сомнений, когда я, опершись о перила, задумчиво смотрел на воду, то это отнюдь не означало, что я действительно предаюсь подобным сомнениям. Просто я очень люблю стоять там, когда садится солнце, и любоваться происходящими вокруг переменами.

Немало новых домов уже выросло у подножия нашего холма. И дальше у реки, где год назад был всего лишь поросший травой пустырь, городская корпорация тоже строит многоквартирные дома для своих будущих сотрудников. Эти дома пока

не достроены, и, когда солнце висит низко над рекой, их можно принять за оставшиеся после бомбежек руины — таких еще много в некоторых районах города.

Но с каждой неделей руин становится все меньше, и теперь, чтобы их увидеть, нужно, наверное, отправиться в самый северный наш район, Вакамия, или в ту часть города между Хонтё и Касугамати, которая особенно сильно пострадала от бомбежек. А ведь еще год назад весь город лежал в руинах. Например, этот район за Мостом Сомнений, бывший наш «веселый квартал»… В прошлом году он напоминал пустырь, заваленный мусором, а теперь там работа так и кипит и каждый день происходят какие-то перемены. Прямо перед заведением госпожи Каваками, где когда-то толпы искателей наслаждений с трудом протискивались по узкой грязной улочке, прокладывают широкую асфальтированную дорогу, по обе стороны которой уже виднеются фундаменты новых просторных офисов.

И когда — не так давно — госпожа Каваками сообщила мне, что та же строительная корпорация предложила выкупить ее помещение за кругленькую сумму, я воспринял это совершенно спокойно, ибо полностью уже смирился с тем

фактом, что рано или поздно ей все равно придется закрыть свой бар и переехать.

— Не знаю, как мне и поступить, — говорила она мне в тот вечер. — Нет, это просто ужасно — ведь здесь прожито столько лет! Я всю ночь не спала — только об этом и думала. А с другой стороны, сэнсэй, теперь, когда Синтаро-сан ко мне больше не ходит, единственным моим надежным клиентом остались только вы. Нет, я просто теряюсь в сомнениях!

И действительно, сейчас, пожалуй, кроме меня у нее постоянных клиентов и не осталось; Синтаро и носа не кажет в ее заведение после того эпизодика прошлой зимой — у него явно не хватает мужества встретиться со мной лицом к лицу. Не повезло госпоже Каваками, она-то не имела к тому, что произошло между мной и Синтаро, ни малейшего отношения.

Прошлой зимой мы с ним, как обычно, выпивали вечерком у нее в баре, и Синтаро впервые упомянул о том, что его заветное желание — получить место преподавателя в одной из новых средних школ. Он поведал мне, что, оказывается, уже подал несколько заявлений в разные школы. Прошло уже много лет с тех пор, как Синтаро был моим учеником, и у него, естественно, не было ни

малейших причин спрашиваться у меня, устраивая свои дела; да и по части рекомендаций, я прекрасно понимаю это, есть много других людей — теперешний работодатель Синтаро, например, — к которым ему уместнее обратиться. И все же, признаюсь, меня несколько удивило, что он даже не посоветовался со мной насчет своего желания работать в школе. А потому, когда зимним днем, вскоре после Нового года, Синтаро возник на пороге моего дома, нервно хихикая и повторяя: «Ах, сэнсэй, я понимаю, что это просто наглость с моей стороны — явиться к вам без приглашения!», я испытал даже некоторое облегчение: все снова возвращалось на круги своя.

Я разжег жаровню в гостиной, и мы уселись к ней поближе, грея руки. Я заметил, что на старом поношенном пальто Синтаро тают одинокие снежинки, и спросил:

— Что, снова снег пошел?

— Чуть-чуть, сэнсэй. Не такой ужасный снегопад, как утром.

— Извини, что у нас в гостиной так холодно. По-моему, это вообще самая холодная комната в доме.

— И совсем тут не холодно, сэнсэй! У меня дома куда холоднее. — Он счастливо улыбнулся и по-

тер руки над жаровней. — Как это мило с вашей стороны, сэнсэй, что вы меня приняли. Вы всегда были очень добры ко мне. Мне и не сосчитать, сколько вы для меня сделали.

— Ну довольно, Синтаро. На мой взгляд, я как раз маловато уделял тебе внимания в прошлом. Так что, если есть что-то, чем я могу загладить эту свою вину перед тобой, охотно послушаю.

Синтаро рассмеялся и снова стал растирать руки.

— Ей-богу, сэнсэй, это же просто смешно! Да вы столько сделали для меня, что мне и не сосчитать!

Я внимательно посмотрел на него и спросил:

— Ладно, Синтаро, говори, в чем дело? Чем я могу тебе помочь?

Он удивленно вскинул на меня глаза и снова рассмеялся:

— Простите, сэнсэй, я тут у вас так хорошо согрелся, что и позабыл, зачем пришел сюда и имел наглость вас потревожить.

Он рассказал, что у него имеются все основания для оптимизма: из надежного источника он узнал, что к заявлению, поданному им в старшую школу Хигасимати, начальство отнеслось в высшей степени благожелательно.

— Но понимаете, сэнсэй, похоже, есть все же одна или две маленькие зацепки, которые несколько смущают комиссию.

— Вот как?

— Да, сэнсэй, и мне, наверное, следует говорить с вами откровенно. Эти два крошечных пятнышка на моей биографии связаны с моим прошлым.

— С прошлым?

— Да, сэнсэй, именно с моим прошлым. — Синтаро нервно хихикнул. Затем, с трудом подыскивая слова, продолжил: — Вы ведь знаете, сэнсэй, как высоко я вас ценю и уважаю, ведь я столь многому у вас научился. Я всегда буду гордиться тем, что вы удостоили меня своей дружбой.

Я кивнул, и он, переведя дух, снова заговорил:

— Дело в том, сэнсэй, что я был бы очень вам признателен, если бы вы сами написали в комиссию — просто чтобы подтвердить некоторые сделанные мной заявления.

— И какие же заявления ты имеешь в виду, Синтаро?

Синтаро снова глупо хихикнул и, вытянув руки над жаровней, пояснил:

— Это ведь только для того, чтобы успокоить комиссию, сэнсэй! Вы, возможно, помните, как мы однажды спорили с вами — по поводу моей

работы во время китайского кризиса?

— Во время китайского кризиса? Я что-то вообще не помню, чтобы мы ссорились, Синтаро.

— Простите, сэнсэй, возможно, я преувеличиваю. Настоящей ссоры действительно не было. И все же я проявил определенную неучтивость и позволил себе выразить несогласие с вами — короче говоря, я сопротивлялся вашим предложениям, касавшимся моей работы.

— Извини, Синтаро, но я совершенно не помню, о чем ты говоришь.

— Естественно, это же такая мелочь! Она легко могла выпасть из вашей памяти, сэнсэй. Но, увы, в данный момент для меня это очень важно. Может быть, вам будет легче вспомнить, если я подскажу, что случилось это на вечеринке по случаю помолвки господина Огавы — по-моему, в отеле «Хамабара». В тот вечер я, наверное, выпил больше, чем нужно, и имел наглость откровенно изложить вам свою точку зрения.

— Я смутно припоминаю этот вечер, но деталей совершенно не помню. И все же, Синтаро, какое отношение к сегодняшнему дню имеет какая-то крохотная давнишняя размолвка меж нами?

— Простите, сэнсэй, но, оказывается, все же имеет. Кое в чем комиссия должна быть абсо-

лютно уверена. В конце концов, нужно ведь, чтобы американские власти были довольны… — Синтаро нервно запнулся. Затем сказал: — Я умоляю вас, сэнсэй, попытайтесь вспомнить! Я всегда был — и останусь! — вам благодарен за все, чему у вас научился, но мои взгляды порой несколько не совпадали с вашими. И я, пожалуй, без преувеличений могу утверждать, что у меня возникали сильные сомнения относительно того направления, какое избрала в свое время наша школа. Вы, наверное, помните, что, хотя я в итоге всегда следовал вашим указаниям, но у меня имелись определенные опасения насчет плакатов, посвященных войне с Китаем, и однажды я даже изложил их вам…

— Плакаты, посвященные войне с Китаем? — пробормотал я. — Да, да, я припоминаю твои работы. Для нашей страны это был критический период, когда от каждого требовалось раз и навсегда твердо решить, чего именно он хочет. Насколько я помню, ты хорошо нарисовал, мы твоей работой даже гордились.

— Нет, сэнсэй, я не о том. Вы же должны помнить, что я действительно сомневался в правильности той работы, которую вы мне поручили! Ну, постарайтесь вспомнить: в тот вечер в отеле

«Хамабара» я ведь открыто поспорил с вами по этому вопросу. Еще раз прошу вас простить меня, сэнсэй, за подобную назойливость.

Помнится, я некоторое время молчал. Видимо, где-то в это время я встал, потому что помню, что когда заговорил, то стоял спиной к двери, ведущей на веранду, и обращался к Синтаро через всю комнату.

— Так ты хочешь, — сказал я наконец, — чтобы я написал в твою комиссию письмо, которое как бы освобождало тебя от всякого влияния с моей стороны? Ты ведь об этом, в сущности, речь ведешь, верно?

— Ничего подобного, сэнсэй! Вы все неправильно поняли! Я по-прежнему горжусь тем, что меня считают вашим учеником. Просто если бы удалось заверить комиссию, что в вопросе об издании плакатов, посвященных войне с Китаем…

Синтаро снова запнулся. Я немного раздвинул двери на веранду, и ледяной воздух тут же устремился в эту щель, но мне было все равно. Я смотрел в сад, на медленное кружение снежных хлопьев.

— Синтаро, — сказал я, — а почему бы тебе просто не принять собственное прошлое? Ты ведь в свое время немало выиграл, заслужив теми

своими плакатами почет, уважение и множество похвал. Возможно, в мире теперь несколько иное мнение о твоих тогдашних работах, но лгать о себе все же не стоит.

— Это верно, сэнсэй, — сказал Синтаро. — Я отлично вас понимаю. Но в данном случае я был бы в высшей степени вам благодарен, если бы вы все же написали в комиссию по поводу этих плакатов. Вот, у меня с собой фамилия и адрес председателя комиссии.

— Синтаро, пожалуйста, послушай меня…

— Сэнсэй, я очень вас уважаю и всегда благодарен за советы и науку, но поймите, мне еще работать и работать. Это прекрасно, предаваться размышлениям и философствовать, когда ты на пенсии. Но я-то пока вынужден существовать в трудовом мире и кое о чем должен позаботиться, если хочу получить место, которое, кстати, по всем прочим показателям и так уже почти мое. Умоляю вас, сэнсэй, пожалуйста, войдите в мое положение!

Я не ответил, продолжая смотреть, как снег падает на ветви деревьев в моем саду. Не оборачиваясь, я услышал, что Синтаро встал.

— Вот имя и адрес, сэнсэй. Если можно, я оставлю это здесь. Я буду невероятно вам благодарен,

если вы еще раз обдумаете мою просьбу, когда у вас найдется минутка свободного времени.

Последовала пауза — я полагаю, он еще надеялся, что я обернусь и позволю ему уйти, сохранив хоть какое-то достоинство. Но я продолжал смотреть в сад. Снег хоть и шел все время, но успел лишь слегка запорошить кусты, а стоило чуть дохнуть ветерку, и вовсе почти весь осыпался с ветки клена за окном. Лишь на каменном столбе с фонарем у задней стены сада красовалась пышная снежная шапка.

Я услышал, как Синтаро еще раз извинился и вышел из комнаты.

Со стороны может, наверное, показаться, что я был излишне неуступчив в разговоре с Синтаро. Но если знать, какие события предшествовали этому визиту, легко можно представить себе, почему я столь неприязненно отнесся к его попыткам уклониться от ответственности за прошлое. Ведь Синтаро явился ко мне всего через несколько дней после «миаи» Норико.

Переговоры относительно предполагаемого брака Норико с Таро Сайто тянулись всю осень, но продвигались довольно успешно; в октябре состоялся обмен фотографиями, и вскоре господин Кио, наш посредник, принес нам приятное

известие: молодой человек прямо-таки мечтает познакомиться со своей будущей невестой. Норико, естественно, тут же устроила целое представление, заявляя, что ей надо еще подумать, хотя всем было уже совершенно ясно: дочери моей уже двадцать шесть, а потому вряд ли она так просто откажется от брака с Таро Сайто.

Так что я уведомил господина Кио, что мы охотно принимаем предложение устроить «миаи», то есть смотрины. Вскоре были согласованы и дата — один из дней ноября, — и место встречи: отель «Касуга-Парк». Сейчас — и вы, возможно, согласитесь со мной — этот отель имеет несколько вульгарный облик, и меня подобный выбор даже немного расстроил. Но господин Кио заверил нас, что закажет отдельный кабинет, и намекнул, что семейству Сайто очень нравится тамошняя кухня, и я в итоге дал свое согласие, хотя и без особого энтузиазма.

Господин Кио также предупредил нас, что может получиться большой «перевес» членов семьи будущего жениха — во всяком случае, собирался прийти и его младший брат, а не только родители, — и посоветовал нам с Норико тоже взять с собой кого-нибудь из родственников или близких друзей для дополнительной, так сказать,

поддержки. Но Сэцуко жила далеко, а больше никого, чтобы попросить присутствовать на «миаи», у нас не было. Видимо, именно ощущение того, что мы можем оказаться в невыигрышном положении, вдобавок к неудачному, с нашей точки зрения, выбору места, и заставило Норико нервничать больше обычного. Короче говоря, эти несколько недель перед смотринами оказались для нас достаточно трудными.

Часто, едва вернувшись с работы, Норико с раздражением спрашивала: «Ну, и чем ты тут целый день занимался, папа? Как всегда, наверное, бродил по дому и хандрил?» А я вовсе не «бродил и хандрил», а, напротив, прилагал все усилия для того, чтобы брачные переговоры на этот раз закончились успешно. Но, считая, что в столь ответственный период не стоит тревожить Норико подробностями моих действий в данном направлении, я отделывался весьма невнятным рассказом о том, как провел день, тем самым лишь побуждая ее продолжать свои нелепые инсинуации. Теперь-то я понимаю, что зря не обсуждал с ней некоторые вещи открыто, ибо моя уклончивость лишь вызывала у Норико еще большее напряжение. Если бы я был с ней откровеннее, это могло бы, наверное, предотвратить

многие неприятные моменты в наших тогдашних отношениях.

Помнится, однажды, когда Норико вернулась с работы домой, я подрезал в саду кустарники. Она вполне вежливо поздоровалась со мной с веранды и исчезла в доме. А через некоторое время, когда я уже сидел на веранде и любовался садом, оценивая результаты своей работы, Норико, успевшая переодеться в кимоно, принесла чай, поставила поднос между нами и тоже села. Стоял один из тех восхитительных дней, которыми была отмечена у нас прошлая осень; сквозь не опавшую еще листву пробивались лучи нежаркого солнца. Норико, проследив за моим взглядом, вдруг сказала:

— Папа, зачем ты так сильно обрезал бамбук? Теперь он выглядит каким-то кривобоким.

— Кривобоким? Ты так думаешь? А по-моему, он вполне ровный. Видишь ли, приходится учитывать, с какой стороны больше молодых побегов.

— Папа, ты, как всегда, суешься не в свое дело! А теперь, небось, и вон тот куст хочешь испортить?

— Испортить? — Я повернулся к дочери. — Ты что этим хочешь сказать? Что все остальное я

уже испортил?

— Во всяком случае, азалии так и не сумели оправиться. Вот что значит, папа, когда у человека слишком много свободного времени! Такой человек в итоге всегда начинает совать свой нос в то, что его вмешательства вовсе не требует.

— Извини, Норико, но я что-то не совсем понимаю, о чем ты. Значит, по-твоему, и азалии теперь выглядят кривобокими?

Норико еще раз окинула взглядом сад и вздохнула:

— Тебе следовало оставить все, как было прежде, папа.

— Извини, Норико, но, по-моему, и бамбук, и азалии выглядят сейчас значительно лучше! И никакой «кривобокости», о которой ты толкуешь, я не замечаю.

— Ну что ж, значит, ты, папочка, стал плохо видеть. Или у тебя просто вкус испортился.

— У меня испортился вкус? Так, это уже любопытно. Ты знаешь, Норико, мало кому приходило в голову ассоциировать понятие «дурной вкус» с моим именем.

— И все равно, папа, — устало сказала она, — этот бамбук выглядит совершенно кривобоким. Ты испортил весь вид: куда лучше было, когда

побеги бамбука переплетались с нависающими ветвями дерева.

Какое-то время я молча созерцал содеянное мною и наконец сказал, кивая в такт собственным словам:

— Да, возможно, тебе, Норико, это видится именно так. Ты ведь всегда была лишена художественного чутья. Как и Сэцуко. Вот Кэндзи — дело другое, а вы, девочки, похожи на вашу маму. Помнится, она, бывало, отпускала такие же нелепые замечания.

— А ты, папа, что, считаешь себя таким большим специалистом по обрезке кустарников? Вот не знала! Извини.

— Я вовсе не утверждал, что я специалист. Просто я несколько удивлен тем, что меня обвиняют в отсутствии вкуса. Я к этому как-то не привык.

— Что ж, папа, по-моему, тут каждый может иметь свое личное мнение.

— Вот и мать твоя была в точности такой же. Говорила первое, что ей в голову приходило. Что ж, по крайней мере, честно.

— Я уверена, что уж в этом ты, папа, разбираешься лучше всех. Да, несомненно.

— А знаешь, Норико, твоя мать ведь порой делала мне замечания, даже когда я рисовал. И

старалась непременно отстоять свое мнение, чем всегда очень меня веселила. А потом и сама начинала смеяться со мной вместе и признавалась, что в таких вещах совсем не разбирается.

— Значит, ты, папа, и в оценке своих картин всегда бывал прав, да?

— Норико, давай прекратим этот бессмысленный спор. А если тебе не нравится то, что я сделал в саду, пожалуйста: отправляйся в сад сама и делай все так, как твоей душе угодно!

— Как мило, папочка, что ты мне это разрешаешь. Вот только когда, по-твоему, мне этим заниматься? У меня ведь далеко не весь день свободен, знаешь ли.

— Что ты хочешь этим сказать, Норико? Между прочим, сегодня я, например, тоже весь день был очень занят. — Я гневно на нее глянул, но она, не замечая этого, с усталым видом продолжала смотреть в сад. Я отвернулся и вздохнул. — Нет, этот абсолютно бессмысленный спор надо немедленно прекратить! Твоя мать, по крайней мере, всегда сама могла признать, что мы спорим по пустякам, и потом вместе со мной смеялась над этим.

В такие минуты я испытывал огромное искушение рассказать ей, как я на самом деле из кожи

вон лезу ради нее. Если бы я дал ей это понять, она бы наверняка очень удивилась и, осмелюсь предположить, устыдилась своего поведения. А ведь я как раз в тот день успел с утра съездить в район Янагава, где, как мне удалось выяснить, теперь проживает Курода.

В общем-то, выяснить это оказалось совсем нетрудно. Профессор живописи из школы Уэмати, убедившись в том, что намерения у меня самые благие, дал мне не только адрес Куроды, но рассказал обо всем, что случилось с моим бывшим учеником за эти годы. Курода, похоже, устроился совсем неплохо, освободившись из заключения после окончания войны. Так уж устроен наш мир, что годы, проведенные в тюрьме, обернулись ему на пользу; в определенных общественных кругах он встретил самый горячий прием и всяческую поддержку. У него, таким образом, практически не возникло затруднений ни с поисками работы — в основном частные уроки, — ни с покупкой всего необходимого для возобновления занятий живописью. А к началу прошлого лета он получил место преподавателя живописи в школе Уэмати.

Сейчас, возможно, кому-то моя реакция может показаться ненатуральной, но я действительно

был очень рад — и, честное слово, даже горд! — узнав, что карьера Куроды развивается успешно. Ведь, в конце концов, это естественно, если учитель продолжает гордиться успехами своего бывшего ученика, даже если в силу определенных обстоятельств они совершенно отдалились друг от друга.

Проживал Курода в довольно паршивом, надо сказать, районе. Я долго тащился пешком по узким улочкам среди жалких развалюх, пока не вышел на залитую асфальтом площадь, больше похожую на двор какого-то промышленного предприятия. Это впечатление усиливало то, что у дальнего конца площади стояло несколько припаркованных грузовиков, а чуть дальше, за железной сеткой ограды, с ревом ворочал землю бульдозер. Помнится, я постоял несколько минут, глядя на этот бульдозер, пока не сообразил, что большой новый дом, возвышавшийся прямо надо мной, и есть тот, в котором живет Курода.

Я поднялся на второй этаж, где двое маленьких мальчиков катались по коридору на трехколесном велосипеде, отыскал его квартиру и позвонил. На первый мой звонок никто не ответил. Но теперь я твердо решил идти до конца и позвонил еще раз.

Дверь отворилась, и на пороге возник юноша лет двадцати со свежим лицом и очень серьезно сказал:

— Прошу меня простить, но, к сожалению, господина Куроды сейчас нет дома. А вы, случайно, не его коллега?

— Можно сказать и так. Я бы хотел кое-что обсудить с господином Курода.

— В таком случае, может быть, вы будете так любезны и согласитесь немного подождать? Проходите, пожалуйста. Я уверен, господин Курода скоро придет и, конечно, очень расстроится, если вы с ним разминетесь.

— Но мне совсем не хочется вас беспокоить.

— Никакого беспокойства, уверяю вас. Входите, входите, пожалуйста.

Квартирка была маленькая и, как и многие современные жилища, без прихожей; застланный татами пол гостиной от крохотного коридорчика отделял лишь низенький порожек. Но в квартире царил полный порядок, множество картин и ковриков украшали стены. В широкие открытые окна, выходящие на узкий балкон, потоками лился солнечный свет. Снаружи доносился рев того самого бульдозера, который я видел.

— Надеюсь, вы не очень спешите? — спросил

молодой человек, предлагая мне сесть и подвигая футон. — Потому что господин Курода никогда не простит мне, если, вернувшись, узнает, что я позволил вам уйти. Вы разрешите мне приготовить вам чай?

— Вы очень любезны, — сказал я, усаживаясь. — Вы что же, студент господина Куроды?

Молодой человек улыбнулся.

— Господин Курода так добр, что называет меня своим протеже, хотя я сомневаюсь, заслуживаю ли я такого отношения к себе. Меня зовут Энти. Да, я раньше учился у господина Куроды, но он и теперь, несмотря на большую преподавательскую нагрузку, великодушно продолжает проявлять живой интерес к моей работе.

— Вот как?

Бульдозер за окном взревел с новой силой. Юноша неловко потоптался возле меня, извинился и сказал:

— Прошу вас, подождите минутку, сейчас я приготовлю чай.

Когда он вновь вошел в комнату уже с чайным подносом, я, указав на одну из картин, заметил:

— Стиль господина Куроды сразу можно узнать.

В ответ молодой человек усмехнулся, как-то

смущенно глянул на картину и сказал, все еще держа поднос на весу:

— Боюсь, этому художнику далеко до господина Куроды.

— Разве это работа не господина Куроды?

— Увы, это всего лишь одна из моих собственных попыток что-то изобразить. Мой учитель так добр, что счел ее достойной быть вывешенной на всеобщее обозрение.

— Правда? Ну что ж…

Я снова стал рассматривать картину, а Энти тем временем поставил поднос на низенький столик возле меня и тоже сел.

— Так это правда ваша работа? Должен сказать, молодой человек, у вас большой талант. Да, несомненно!

Энти опять смущенно усмехнулся.

— Мне просто очень повезло — ведь моим учителем был господин Курода. Мне еще многому нужно учиться.

— А ведь я даже не сомневался, что это одна из работ самого господина Куроды! Мазок в точности как у него.

Молодой человек довольно неуклюже возился с чайником, словно не зная, с чего начать. Я заметил, как он приподнял крышечку и заглянул

внутрь.

— Господин Курода постоянно повторяет, — сказал он, — что я должен постараться писать в том стиле, который больше свойствен мне самому. Но я настолько восхищаюсь манерой господина Куроды, что просто не могу не подражать ему!

— В этом нет ничего плохого — какое-то время подражать своему учителю. Так можно многому научиться. Всему свое время. У вас тоже непременно возникнут собственные идеи, разовьется собственная техника, ибо человек вы несомненно талантливый. Да, я уверен: будущее у вас поистине многообещающее. Ничего удивительного, что господин Курода уделяет вам столько внимания.

— У меня просто слов не хватит, чтобы перечислить все, чем я обязан господину Куроде! Вы и сами видите, я даже живу в его квартире. Уже почти две недели. Мои прежние хозяева попросту вышвырнули меня на улицу, а господин Курода меня спас. Нет, просто невозможно пересказать все, что он для меня сделал!

— Вы говорите, что вас выбросили из вашей квартиры?

— Уверяю вас, — усмехнулся он, — это не потому, что я не платил за квартиру! Я платил аккуратно. Но, понимаете, как я ни старался, все

равно иногда капал красками на татами, вот мой хозяин разозлился и выгнал меня.

Мы оба немного посмеялись, и я сказал:

— Извините, я смеюсь только потому, что и у меня, помнится, были точно такие же проблемы, когда я начинал, так что я очень вам сочувствую. Уверяю вас, вскоре у вас будет все — и должные условия для работы, и все остальное, если, конечно, вы будете упорно работать.

Мы еще немного посмеялись, и Энти сказал, принимаясь наконец разливать чай:

— Спасибо, вы очень меня обнадежили. Только, прошу вас, не уходите: теперь господин Курода уже совсем скоро придет. Он, конечно же, будет очень рад возможности поблагодарить вас за все, что вы для него сделали.

Я удивленно посмотрел на него.

— Вы думаете, господин Курода так уж хочет меня поблагодарить?

— Извините, но я думал, что вы из общества «Кордон»…

— Общество «Кордон»? Простите, а что это такое?

Энти глянул на меня, прежняя неловкость вновь овладела им.

— Это вы меня простите. Я ошибся. Я почему-то

решил, что вы из «Кордона».

— К сожалению, вы действительно ошиблись. Я просто старый знакомый господина Куроды.

— Понятно. Старый коллега?

— Вот именно. Можно, наверное, и так сказать. — Я снова посмотрел на картину, написанную Энти. — Да, это действительно очень хорошая работа, — сказал я. — Вы очень талантливы. — Я вдруг почувствовал, что он внимательно ко мне присматривается. Потом он спросил:

— Простите, могу я узнать, как вас зовут?

— Ох, извините, я не представился; вы, должно быть, сочли меня невежей. Мое имя — Мацуи Оно.

— Понятно.

Энти встал и отошел к окну. Минуту или две я смотрел, как над двумя чайными чашками, стоявшими на столике, вьется парок. Потом спросил:

— Так что, господин Курода скоро придет?

Сперва мне показалось, что юноша и не собирается мне отвечать. Но он все же ответил, не оборачиваясь и по-прежнему глядя в окно:

— Наверное, раз он все еще не вернулся, вам больше не стоит ждать и тратить время зря.

— И все же, если вы не возражаете, я еще немного подожду, раз уж я сюда добрался.

— Я обязательно скажу господину Куроде, что вы приходили. Возможно, он потом вам сам напишет.

За дверью слышалась возня детей; они, похоже, колотили своим велосипедом о стену и что-то сердито орали друг другу. И мне вдруг подумалось: до чего же этот молодой человек, что стоит у окна, похож сейчас на обиженного ребенка!

— Простите мне мои слова, господин Энти, — сказал я, — но вы еще очень молоды. Вы были еще ребенком, когда мы с господином Курода впервые познакомились. И я бы попросил вас не делать слишком поспешных выводов о вещах, которые вам не слишком хорошо известны.

— Не слишком хорошо? — Он вдруг повернулся ко мне. — Простите, ну а сами-то вы хорошо все знаете? Знаете, какие страдания ему довелось пережить?

— Почти все на свете сложнее, чем кажется на первый взгляд, господин Энти. Для молодых людей вашего поколения характерно несколько упрощенное восприятие вещей. Но я в любом случае вижу довольно мало смысла в том, чтобы в данный момент спорить с вами. Я бы просто хотел подождать господина Куроду, если вы не возражаете.

— А я бы предложил вам, господин Оно, не откладывать более ваши дела и не ждать господина Куроду. Обещаю, что непременно сообщу ему о вашем визите, как только он вернется. — До сих пор Энти еще как-то ухитрялся сохранять вежливый тон, но теперь, похоже, совсем потерял контроль над собой. — Честно говоря, я просто потрясен вашим спокойствием! Явиться сюда, словно вы его старый добрый знакомый!..

— Но я и есть его старый добрый знакомый. И уж позвольте самому господину Куроде решать, хочет он меня принять или нет.

— Знаете, я достаточно хорошо успел узнать господина Куроду, и, по-моему, вам лучше всего сейчас уйти. Он наверняка не захочет вас видеть!

Я вздохнул и поднялся на ноги. Энти, стоя ко мне спиной, опять уставился в окно. Но когда я уже взял с вешалки свою шляпу, он все же обернулся и сказал как-то на редкость спокойно:

— Значит, кое-что мне не слишком хорошо известно, господин Оно? Ошибаетесь: это как раз вам кое-что не слишком хорошо известно! Иначе вы бы не осмелились вот так заявиться сюда. Я, например, уверен: вы не знаете, что у господина Куроды с плечом. Правда ведь? Он

безумно страдал от боли, но его тюремщики нарочно «забывали» доложить о полученной им травме, и никакого лечения до самого конца войны он так и не получил. Зато они, разумеется, сразу же вспоминали о его больной руке, когда в очередной раз собирались его избить! Предатель. Вот как они его называли! Предатель. Каждый день они твердили ему это! Но теперь-то всем известно, кто настоящие предатели!

Я завязал на туфлях шнурки и двинулся к двери.

— Вы слишком молоды, господин Энти, чтобы разбираться во всем, что творится в нашем сложном мире.

— Да, теперь мы знаем, кто были настоящие предатели! И знаем, что многие из них все еще на свободе!

— Так вы скажете господину Куроде, что я приходил? Возможно, он будет так любезен, что напишет мне. Всего хорошего, господин Энти.

Естественно, я не позволил себе особенно расстраиваться из-за слов этого юнца. Однако в свете переговоров о браке Норико меня несколько тревожила возможность того, что Курода действительно так враждебно настроен по отношению ко мне, как о том говорил Энти. В конце

концов, я как отец просто обязан был побыстрее решить эту неприятную проблему и, вернувшись домой, сразу же написал Куроде письмо, выразив желание встретиться с ним — в частности, чтобы обсудить один важный вопрос весьма деликатного свойства. Письмо мое носило, по-моему, в высшей степени дружелюбный, даже примиренческий характер, и меня весьма разочаровал холодный и до обидного краткий ответ, который я получил несколько дней спустя.

«У меня нет причин полагать, что наша встреча приведет к чему-нибудь хорошему, — писал мне мой бывший ученик. — Благодарю вас за любезный визит который вы нанесли мне на днях, но, думаю, вам не стоит впредь затруднять себя подобными проявлениями внимания к моей персоне».

Признаюсь, история с Куродой меня несколько расстроила, и я, безусловно, лишился изрядной доли оптимизма в отношении исхода теперешних брачных переговоров. И хотя, как я уже говорил, подробности своих попыток встретиться с Куродой я от Норико утаил, она, конечно же, почувствовала, что данный вопрос благополучного разрешения не имел, и это, несомненно, добавило ей волнений.

В день назначенных смотрин дочь моя показалась мне настолько напряженной, что я забеспокоился: какое впечатление она произведет сегодня вечером на семейство Сайто? Ведь они-то наверняка продемонстрируют полное спокойствие и благожелательную уверенность в себе. Ближе к вечеру я почувствовал, что надо бы попробовать несколько взбодрить Норико; именно поэтому, когда она проходила через столовую, где я читал газету, я заметил:

— Просто удивительно, Норико, как это ты умудряешься целый день заниматься только собственной внешностью! Можно подумать, у тебя сегодня уже свадьба.

— Ты, папа, как всегда, подшучиваешь над другими, а сам не готов! — сердито парировала она.

— А мне и нужно-то всего несколько минут! — рассмеялся я. — Зато с тобой творится что-то необычное — ты целый день на сборы потратила.

— Ну, сколько времени будешь собираться ты, папа, дело твое. Разумеется, ты у нас слишком горд, чтобы обращать внимание на такие вещи.

Я удивленно посмотрел на нее.

— Почему это я «слишком горд»? Ты что этим хочешь сказать, Норико?

Моя дочь отвернулась, поправляя заколку в волосах.

— Норико, что значит «слишком горд»? Что ты имеешь в виду?

— А то, что тебя не волнуют такие пустяки, как мое будущее, это же совершенно понятно. Ведь ты, папочка, даже свою газету еще не дочитал.

— Ну вот, теперь тебя совсем куда-то не туда занесло. По-моему, ты только что сказала, что я «слишком горд». Будь добра, поясни, что ты имела в виду?

— Я просто надеюсь, папа, что к назначенному часу ты будешь иметь достаточно презентабельный вид, — отрезала Норико и пулей вылетела из комнаты.

И я снова, как часто бывало в те трудные дни, задумался о том, как непохоже поведение Норико на то, что было в прошлом году во время брачных переговоров с семейством Миякэ. Тогда она была спокойной, уверенной, даже, пожалуй, излишне самоуверенной. Конечно, Дзиро Миякэ она хорошо знала и, видимо, не сомневалась, что они непременно поженятся, а потому, наверное, и воспринимала переговоры как некую обременительную формальность. И конечно, потрясение, которое ей довелось испытать, оказалось для

нее весьма тяжким. И все же ей не следовало заниматься инсинуациями на мой счет. В общем, сегодняшняя маленькая перепалка вряд ли способствовала приведению нас в необходимое во время «миаи» расположение духа и, несомненно, внесла свой вклад в то, что случилось тем вечером в отеле «Касуга-Парк».

Много лет этот отель, выстроенный в европейском стиле, считался одним из наиболее приятных мест в городе. Однако теперь его хозяева решили сменить интерьер и сделали его, на мой взгляд, почти вульгарным — явно желая поразить воображение клиентов-американцев, у которых отель «Касуга» очень популярен и считается почему-то «очаровательно японским». Впрочем, тот зал, который зарезервировал для нас господин Кио, оказался очень даже приличным, и главным его плюсом был роскошный вид, открывавшийся из широких окон на западный склон холма Касуга и раскинувшийся внизу большой город, мерцающий множеством огоньков. Все остальное, впрочем, особого восторга не вызывало: самый обычный круглый стол, вокруг него стулья с высокими спинками, на стене большая картина. Картину я узнал: это была работа художника Мацумото, которого я

знавал до войны.

Вполне возможно, из-за напряжения, вызванного «миаи», я выпил несколько больше, чем собирался, ибо сам тот вечер помню не слишком отчетливо. Я, правда, почти сразу составил себе вполне благоприятное впечатление о Таро Сайто, своем потенциальном зяте. Он показался мне человеком умным, ответственным и воспитанным, а также обладавшим той приятной уверенностью манер, которая так нравилась мне в его отце. Когда Таро Сайто спокойно и в то же время в высшей степени галантно приветствовал нас с Норико у входа в отель, мне сразу вспомнился другой молодой человек, который несколькими годами раньше в аналогичной ситуации произвел на меня очень хорошее впечатление. Я имею в виду своего зятя Суйти и то, как он вел себя во время «миаи» Сэцуко в гостинице «Империал» (во всяком случае, так она называлась раньше). И на мгновение мне пришла в голову мысль о том, что, возможно, любезность и доброжелательность Таро Сайто тоже неизбежно поблекнут со временем, как это произошло с Суйти. Впрочем, Таро, надо надеяться, никогда не придется столкнуться с тем горьким опытом, который, насколько мне известно, выпал на долю Суйти.

Что же касается самого доктора Сайто, то он, как всегда, отлично владел ситуацией. Несмотря на то что до этого вечера мы с ним ни разу как следует не были представлены друг другу, мы были фактически знакомы уже много лет и всегда вежливо здоровались, встретившись на улице, подчеркивая этим взаимное уважение. С его женой, привлекательной женщиной лет пятидесяти, я также всегда здоровался при встрече, но не более того. Теперь же я с первого взгляда понял, что и она не менее достойная личность, чем ее супруг, и наверняка способна уладить любую неловкую ситуацию, если таковая возникнет. Единственным членом семейства Сайто, который не произвел на меня благоприятного впечатления, был их младший сын, Мицуо, молодой человек лет двадцати.

Теперь, когда я вспоминаю тот вечер, мне кажется, что мои подозрения насчет юного Мицуо зародились сразу, как только я его увидел. Я, правда, не могу с уверенностью сказать, что именно меня насторожило, — возможно, он напомнил мне Энти, того молодого человека, с которым я встретился в квартире Куроды. Так или иначе, стоило нам приняться за еду, я почувствовал, что мои первые подозрения постепенно подтвержда-

ются. Хотя Мицуо и полностью соблюдал декорум, я постоянно ловил на себе нечто враждебно-обвиняющее во взглядах, которые он бросал, передавая мне, скажем, блюдо через стол.

А чуть позже мне в голову вдруг пришла мысль о том, что на самом-то деле Мицуо относится ко мне точно так же, как и остальные члены его семьи, — просто он еще не успел научиться достаточно искусно это скрывать. Теперь я уже постоянно сам поглядывал на Мицуо, как если бы именно он являлся индикатором того, что же на самом деле думают о нас эти Сайто. Но поскольку Мицуо сидел довольно далеко от меня, а его сосед, господин Кио, непрерывно о чем-то с ним беседовал, у меня так и не появилось возможности самому хоть какое-то время пообщаться с юношей.

— Мы слышали, вы хорошо играете на фортепиано, госпожа Норико, — заметила, помнится, госпожа Сайто.

Норико со смущенной улыбкой возразила:

— Я слишком мало упражняюсь, чтобы играть действительно хорошо.

— Я в молодости тоже играла, — сказала госпожа Сайто. — Но теперь тоже редко подхожу к инструменту. У нас, женщин, всегда времени не

хватает для подобных занятий, верно?

— Да, вы правы, — пробормотала моя дочь, явно нервничая.

— А я очень плохо в музыке разбираюсь, — вступил в разговор Таро Сайто, не сводя глаз с Норико. — Да еще и мама постоянно обвиняет меня в том, что мне медведь на ухо наступил! В итоге ей удалось доказать, что вкуса у меня нет, и теперь приходится спрашивать у нее, кого из композиторов мне следует любить.

— Какой вздор! — притворно возмутилась госпожа Сайто.

— Вы знаете, госпожа Норико, — продолжал Таро, — я как-то купил записи фортепианных концертов Баха. Бах мне очень нравился, но мама все время эти записи критиковала, а меня обвиняла в дурновкусии. Ну разве я мог тягаться с таким великим знатоком музыки, как она? В итоге Баха я теперь практически не слушаю. Но теперь, может быть, мне на помощь придете вы, госпожа Норико? Вам Бах нравится?

— Бах? — На мгновение мне показалось, что моя дочь вообще не понимает, о чем ее спрашивают. Потом она вдруг улыбнулась и сказала: — Да, очень. Очень нравится.

— Ага! — торжествующе воскликнул Таро. —

Теперь и маме придется кое-что переоценить!

— Мой сын вечно говорит всякие глупости, госпожа Норико. Я никогда не критиковала творчество Баха в целом. Но что касается фортепианной музыки, разве вам не кажется, что Шопен гораздо выразительнее?

— Да, конечно, — подтвердила Норико.

И вот так, скованно, отвечала моя дочь на любой вопрос всю первую половину вечера. Что, впрочем, отнюдь не было для меня неожиданностью. В кругу семьи или в компании близких друзей Норико усвоила очень бойкую манеру общения и говорит остроумно и красноречиво, а вот во время официальных встреч мне часто приходилось видеть, как она с трудом находит нужный тон и больше молчит, производя впечатление чрезвычайно стеснительной особы. Именно это и происходило в данном случае, и я уже начинал беспокоиться, ибо мне было совершенно ясно — и гордо приподнятый профиль госпожи Сайто также свидетельствовал об этом: семья Сайто отнюдь не принадлежит к старомодному типу, где предпочитают, чтобы женщины сидели и помалкивали. Я, собственно, так и думал и предупреждал Норико, когда мы готовились к смотринам, что ей стоит как можно

лучше продемонстрировать свою живость, ум и острый язык. И она была полностью с моими стратегическими соображениями согласна и выразила самое решительное намерение вести себя «совершенно естественно». Я даже немного испугался, как бы она не переборщила и не вышла за рамки приличий. Но, увидев, с каким трудом она, односложно и даже как-то угодливо, не поднимая глаз, отвечает на вопросы Сайто, которые наперебой пытаются ее разговорить, я сразу представил себе, в каком она пребывает отчаянии.

Впрочем, если не считать скованности Норико, застольная беседа протекала весьма непринужденно. Особенно старался доктор Сайто, проявивший поистине великолепное умение создавать в компании легкую приятную атмосферу, и если бы я постоянно не чувствовал на себе взгляд юного Мицуо, то, пожалуй, мог бы даже забыть опасность положения и расслабиться. В какой-то момент, помнится, доктор Сайто, удобно откинувшись на спинку стула, заметил:

— Оказывается, сегодня в центре города снова состоялись демонстрации. Вы знаете, господин Оно, когда я ехал на трамвае, на одной из остановок в наш вагон вошел человек с огромной ссадиной на лбу. Он сел рядом со мной, и я, есте-

ственно, спросил, хорошо ли он себя чувствует и не нужен ли ему врач. Но он, как оказалось, уже побывал у врача и теперь снова собирался присоединиться к своим товарищам, вышедшим на демонстрацию. Как вам это нравится, господин Оно?

Доктор Сайто говорил самым обычным тоном, но у меня в тот миг возникло ощущение, что все за столом — включая Норико — перестали жевать, чтобы не упустить моего ответа. Вполне возможно, конечно, что мне это просто показалось, но что я помню совершенно отчетливо, так это с каким напряженным вниманием наблюдал за мной в эти минуты юный Мицуо.

— Да, очень жаль, — сказал я, — что доходит до увечий. Видимо, чувства у молодежи так и бурлят.

— Ох, как это верно, господин Оно! — вздохнула госпожа Сайто. — Чувства, конечно, могут бурлить, но зачем же доходить до рукопашной! Столько покалеченных! А мой муж еще уверяет, что это даже хорошо. И я, честное слово, не понимаю, что он имеет в виду.

Я ожидал, что доктор Сайто как-то прореагирует на ее слова, однако в разговоре почему-то возникла очередная пауза, и глаза всех присут-

ствующих вновь обратились ко мне.

— Это вы справедливо заметили, — обронил я, — увечий, к сожалению, действительно слишком много.

— Моя жена, как всегда, искажает мои слова, господин Оно, — вмешался наконец доктор Сайто. — Я никогда не утверждал, что уличные потасовки — это так уж хорошо. Хотя и пытался доказать, что во время этих демонстраций люди получают не только увечья, что в них заложен куда более глубокий смысл. Плохо, конечно, что потасовки все же случаются и люди калечат друг друга. Однако в основе этого лежит потребность людей открыто, во всеуслышание выражать свое мнение — вот что действительно важно! А вы разве думаете иначе, господин Оно?

Возможно, я несколько мгновений колебался с ответом, во всяком случае, меня опередил Таро Сайто:

— Нет, отец, сейчас все действительно просто выходит из-под контроля! Демократия — это прекрасно, и все же она отнюдь не означает, что наши граждане имеют право бунтовать, как только они с чем-то не согласны. В этом отношении мы, японцы, пока что похожи на неразумных детей. Нам еще нужно долго учиться, как справ-

ляться с той ответственностью, которую налагает на общество демократия.

— Вот уж поистине необычный случай! — рассмеялся доктор Сайто. — Похоже, в нашей семье — во всяком случае, по данному вопросу — отец оказался куда более либеральным, чем сын. Впрочем, Таро, наверное, прав. В настоящий момент наша страна подобна малышу, который только еще учится ходить и бегать. Но уверяю вас: душевное здоровье нации в полном порядке. Ведь, увидев, как подрастающий ребенок на бегу разбивает себе коленку, вы не станете запирать его дома, чтобы он больше не падал, не так ли, господин Оно? Или, может, я действительно чересчур либерален, как утверждают мои жена и сын?

И тут я, возможно, снова совершил ошибку — ибо, как уже говорил, выпил несколько больше, чем собирался, — но мне показалось, что есть некое странное несоответствие в том, что у представителей семейства Сайто столь различные точки зрения на один и тот же вопрос. Кроме того, я заметил, что юный Мицуо опять не сводит с меня глаз.

— Я думаю, вы правы, — сказал я доктору. — Но очень надеюсь, что люди все же перестанут калечить друг друга.

Помнится, тут как раз вмешался Таро Сайто и, решительно сменив тему, спросил у Норико, нравится ли ей один из тех новых больших магазинов, что недавно открылись в городе, и какое-то время разговор шел о вещах малозначимых.

Такая вещь, как «миаи», разумеется, нелегко дается любой потенциальной невесте; даже как-то нечестно, по-моему, требовать от молодой женщины каких-то суждений, которые могут оказаться решающими для всей ее будущей жизни, когда она находится под прицелом стольких внимательных глаз. И все-таки, должен признаться, я никак не ожидал, что для Норико это будет так тяжело. По ходу вечера ее уверенность в себе все таяла и таяла. В итоге на любой вопрос она отвечала лишь «да» или «нет». Я видел, что Таро Сайто изо всех сил старается помочь ей расслабиться. Однако обычаи требовали, чтобы он не проявлял особой настойчивости в беседах с предполагаемой невестой, и его попытки начать шутливую беседу то и дело кончались неловким молчанием. Видя, как моя дочь все глубже погружается в отчаяние, я снова и снова поражался тому, сколь сильно все это отличается от прошлогодних событий. Тогда к нам как раз приехала Сэцуко; она, конечно же, присутствовала на церемонии

«миаи» и всячески поддерживала сестру, хотя в тот вечер Норико, похоже, ничья поддержка и не требовалась. Меня, помнится, даже слегка раздражало, что Норико и Дзиро Миякэ все время с улыбкой переглядываются через стол, словно посмеиваясь над необходимостью соблюдать формальности.

— А помните, господин Оно, — услышал я голос доктора Сайто, — когда мы с вами виделись в последний раз, то выяснили, что у нас с вами есть общий знакомый. Некто господин Курода.

К этому времени наш ужин уже подходил к концу.

— Да-да, действительно припоминаю, — сказал я.

— А мой младший сын, — доктор Сайто указал на Мицуо, с которым я пока что не обменялся и парой слов, — учится в школе Уэмати, где как раз и преподает господин Курода.

— Вот как? — Я повернулся к молодому человеку. — Значит, вы хорошо знаете господина Куроду?

— Да нет, не очень, — ответил он. — К сожалению, у меня нет способностей к рисованию, так что мои контакты с преподавателями живописи весьма ограниченны.

— Однако о господине Куроде все отзываются очень хорошо, верно, Мицуо? — спросил доктор Сайто.

— Да, очень хорошо.

— А ты знаешь, что господин Оно был когда-то близко знаком с господином Курода?

— Да, я слышал, — сказал Мицуо.

И тут опять вмешался Таро Сайто, в очередной раз сменив тему.

— Вы знаете, госпожа Норико, — обратился он к моей дочери, — у меня давно уже возникла одна теория, которая объясняет отчасти, почему у меня такой плохой музыкальный слух. Все дело в том, что мои родители никак не могли как следует настроить фортепиано, и я с раннего детства — каждый день, госпожа Норико! — был вынужден слушать, как мама играет на расстроенном инструменте. Вам не кажется, что именно это и послужило причиной моих несчастий?

— Да, возможно, — тихо ответила Норико, не поднимая глаз от тарелки.

— Ну вот! Я же всегда говорил маме, что это ее вина. А она продолжала упрекать меня в отсутствии слуха. Вы не находите, что со мной обращались в высшей степени несправедливо, госпожа Норико?

Норико улыбнулась, но ничего не сказала.

И тут господин Кио, до сих пор тактично остававшийся на заднем плане, решил рассказать один из своих «очень смешных» анекдотов. Если судить по тому, что рассказывала об этом вечере Норико, то он не успел добраться и до середины, когда я вдруг прервал его и, повернувшись к юному Мицуо Сайто, громко спросил у него:

— Господин Курода ведь наверняка говорил с вами обо мне, не так ли?

Мицуо изумленно вскинул на меня глаза и, слегка запинаясь, переспросил:

— Говорил о вас? Я уверен, он часто упоминает вас, но я, к сожалению, не слишком хорошо знаком с ним, а потому мы… — Он не договорил и умоляюще посмотрел на родителей, словно призывая их на помощь.

— Я не сомневаюсь, — решительно поддержал сына доктор Сайто, — что господин Курода всегда вспоминает господина Оно добрыми словами.

— Вряд ли, — сказал я и снова в упор поглядел на Мицуо, — господин Курода такого уж высокого мнения обо мне.

Юноша опять повернулся к родителям, ища помощи, и на этот раз мне ответила госпожа Сайто:

— Как раз напротив! Я совершенно уверена, что

он о вас самого высокого мнения, господин Оно.

— Кое-кто, госпожа Сайто, — сказал я, возможно, чересчур громко, — считает, что я, строя свою карьеру, на многих оказывал отрицательное влияние. Настолько отрицательное, что о нем теперь стараются забыть, словно его и не было. И я прекрасно знаю, каково мнение этих людей о моей персоне. Насколько мне известно, господин Курода как раз подобной точки зрения и придерживается.

— Так ли? — Возможно, я ошибаюсь, но мне показалось, что доктор Сайто смотрит на меня, как учитель на ученика, который нечаянно сбился, но сейчас продолжит рассказывать урок, выученный наизусть.

— Именно так. И, кстати, теперь я, пожалуй, вполне готов признать обоснованность этого мнения.

— Я уверен, что вы несправедливы к себе, господин Оно… — начал было Таро Сайто, но я прервал его и торопливо продолжил:

— Кое-кто с удовольствием возложил бы на таких, как я, всю ответственность за те ужасные вещи, которые случились с нашей страной и народом. Я признаю, что действительно совершил немало ошибок. Многое из того, что я делал, шло

во вред нашей стране. Я признаю: своим влиянием я внес вклад в укрепление того, что в итоге привело к невыразимым страданиям нашего народа. Да, я все это признаю. Видите, доктор Сайто, я полностью готов признать свои ошибки.

Доктор Сайто с озадаченным видом смотрел на меня, напряженно наклонившись вперед.

— Простите, господин Оно, — сказал он. — Вы, видимо, хотите сказать, что переживаете из-за некоторых тогдашних ваших работ? Из-за ваших картин?

— Да, из-за моих картин. Из-за того, чему я учил других. Как видите, доктор Сайто, я готов это признать. Могу лишь прибавить, что в ту пору я действовал из самых лучших побуждений и искренне верил, что служу делу добра и своему народу. Но, как видите, не боюсь теперь признать, что ошибался.

— И все-таки я уверен: вы слишком строго судите себя, господин Оно! — почти весело воскликнул Таро Сайто и, повернувшись к Норико, спросил: — Скажите, госпожа Норико, ваш отец всегда так строг к себе?

И только тут до меня дошло, что Норико давно уже смотрит на меня с откровенным изумлением. Возможно, именно поэтому вопрос Таро застал ее

врасплох, и впервые за весь вечер она ответила ему со свойственной ей бойкостью:

— Ну что вы! Папа совсем не строг. Это мне приходится быть с ним строгой, а то он и к завтраку с постели не встанет!

— Да неужели? — Таро Сайто явно обрадовался, что сумел наконец вытянуть из Норико неформальный ответ. — Между прочим, мой отец тоже поздняя пташка. Говорят, пожилые спят меньше молодых, но, судя по нашему с вами опыту, это утверждение представляется мне весьма спорным.

Норико рассмеялась:

— Я думаю, это касается только отцов. Не сомневаюсь, у госпожи Сайто с подъемом никаких проблем.

— Прелесть какая! — шутливо возмутился доктор Сайто, наклоняясь ко мне. — Мы еще даже из комнаты не вышли, а они уже над нами насмехаются!

Не стану утверждать, что до сих пор помолвка висела на волоске, но все же мне кажется, что именно после этих слов доктора мучительная, грозившая провалом церемония «миаи» превратилась в удавшуюся веселую вечеринку. Мы еще довольно долго беседовали и пили сакэ, и к тому

времени, когда прибыли вызванные такси, у всех, по-моему, сложилось ощущение, что мы отлично друг с другом поладили. Но самое главное, конечно, то, что Таро Сайто и Норико явно друг другу понравились, хотя они, разумеется, соблюдали все традиционные правила приличия.

К чему притворяться: некоторые моменты этой встречи действительно оказались для меня весьма болезненными; вряд ли я стал бы так легко говорить об ошибках прошлого, если бы обстоятельства не подсказали мне благоразумие и дальновидность такого поведения. И теперь, должен отметить, мне уже трудно понять, как может человек, исполненный самоуважения, стремиться избежать ответственности за свои былые деяния. Возможно, далеко не всегда легко разобраться с ошибками всей своей жизни, но, несомненно, только так можно сохранить достоинство и получить удовлетворение. И кроме того, я уверен: не так уж это позорно, если свои ошибки ты совершил, свято во что-то веруя. На мой взгляд, куда постыднее обманом скрывать свое прошлое или быть попросту неспособным признать собственные ошибки.

Возьмем, к примеру, Синтаро — между прочим, он сумел-таки получить то место преподавате-

ля, которого так домогался. Так вот, Синтаро, по-моему, сегодня чувствовал бы себя куда более счастливым, если б у него хватило мужества и честности признать то, чем он занимался в прошлом. Вполне возможно, тот холодный прием, который он получил у меня зимой, вскоре после Нового года, все же убедил его несколько переменить тактику в своих взаимоотношениях с отборочной комиссией — я имею в виду вопрос об изготовлении им плакатов, призывавших к войне с Китаем. Но скорее всего, Синтаро все так же упорствовал в своем низком лицемерии, стремясь во что бы то ни стало достигнуть поставленной цели. И я, пожалуй, склонен думать, что в нем всегда таился маленький хитрый интриган, которого я когда-то как следует не разглядел.

— Вы знаете, Обасан, — сказал я госпоже Каваками, сидя у нее как-то вечером, — а ведь Синтаро, пожалуй, никогда и не был таким недотепой, каким нам казался. Для него это просто одна из личин, способ завоевывать сочувствие людей и добиваться задуманного. Люди, подобные Синтаро, когда не хотят что-то делать, изображают полнейшую беспомощность и растерянность, и тогда им все, разумеется, сразу прощается.

— Ну что вы, сэнсэй! — Госпожа Каваками

посмотрела на меня неодобрительно; оно и понятно, ей не хотелось думать плохо о человеке, который столько лет был одним из ее лучших клиентов.

— А вы вспомните, Обасан, — продолжал я, — как умно, например, он сумел уйти от призыва в армию. В то время как другие теряли на войне все, в том числе и жизнь, наш Синтаро продолжал тихо трудиться в своей маленькой студии, словно вокруг ничего и не происходило.

— Но, сэнсэй, ведь у господина Синтаро больная нога…

— Больная или не больная, а призывали-то всех поголовно. Разумеется, и его в итоге разыскали, но тогда до конца войны оставались уже считанные дни. Вы знаете, Обасан, Синтаро как-то сказал мне, что из-за войны потерял целых две рабочих недели. Вот чего ему стоила война! Поверьте, Обасан, наш старый приятель далеко не так простодушен, как кажется.

— Ну, все равно, — устало вздохнула госпожа Каваками. — Он, похоже, никогда уж больше сюда не вернется.

— Да, Обасан, вы правы: этого клиента вы, должно быть, потеряли навсегда.

Госпожа Каваками зажала в пальцах тлеющую

сигарету и оперлась о стойку, с тоской озирая свой маленький бар. Как обычно, кроме нас там не было ни души. Предзакатные лучи солнца с трудом просачивались сквозь противомоскитную сетку на окнах, отчего помещение казалось куда более обветшалым и грязным, чем поздним вечером, когда все окутано тьмой и лишь стойка освещена низко висящими светильниками. Снаружи еще вовсю шли строительные работы. Не меньше часа почти непрерывно ухал копер, оглушительно ревели тяжелые грузовики, от грохота дрелей в баре звенели стекла. И, проследив за взглядом госпожи Каваками, я вдруг подумал, до чего же неуместным и жалким будет выглядеть ее бар среди новых многоэтажных зданий, которые городская корпорация уже начала возводить вокруг.

— Вы знаете, Обасан, — сказал я, — вам, пожалуй, действительно стоит серьезно подумать о переезде. И принять предложение того покупателя. Оно мне, кстати, кажется весьма удачным.

— Да, но я здесь так давно… — Она махнула рукой, отгоняя сигаретный дым.

— Ничего, Обасан, вы могли бы открыть отличный новый бар где-нибудь в Китабаси или даже в Хонтё. И можете не сомневаться: я непременно

буду заходить к вам каждый раз, как только окажусь в тех краях.

Госпожа Каваками помолчала, словно прислушиваясь к звукам стройки, потом широко улыбнулась и сказала:

— А ведь когда-то здесь был такой прелестный уголок, помните, сэнсэй?

Я тоже улыбнулся, но ничего не ответил. Конечно, я помнил наш старый «веселый квартал»! Сколько радости он нам принес, какой замечательный дух Дружеской дискуссии царил здесь, какими искренними были всегда наши споры! Но, с другой стороны, далеко не все настроения, что господствовали здесь, пошли нам на пользу. Возможно, даже к лучшему, что тот наш маленький мирок растаял в дымке прошлого и больше уже не вернется. Мне захотелось сказать об этом госпоже Каваками, но я передумал, решив, что это было бы бестактно. Ведь ясно же, что старый квартал ей необычайно дорог, она провела здесь большую часть жизни, вложила в свой бар столько сил и средств, и теперь ей трудно смириться с мыслью, что все это ушло навсегда.

Ноябрь, 1949

Я отлично помню свою первую встречу с доктором Сайто и вполне уверен в точности всех деталей, хотя с тех пор прошло уже шестнадцать лет. Это случилось летом, на следующий день после нашего переезда в только что купленный дом. Погода, помнится, была замечательная, и я возился в саду — изгородь поправлял или чинил калитку, — то и дело здороваясь с новыми соседями, проходившими мимо. В какой-то момент, стоя спиной к тропинке, я почувствовал, что кто-то остановился рядом и наблюдает, как я работаю. Обернувшись, я увидел мужчину, примерно моего ровесника, который с интересом изучал новое имя, появившееся на воротах.

— Значит, вы и есть господин Оно, — улыбнулся он мне. — Что ж, для нас это большая честь — иметь в соседях такую знаменитость. Видите ли, я и сам отчасти принадлежу к миру искусства. Моя фамилия Сайто, я преподаю в Императорском университете.

— Доктор Сайто? Очень рад с вами познакомиться! Я много слышал о вас.

Мы еще некоторое время поговорили, стоя у калитки, и я уверен: за время этого разговора доктор Сайто несколько раз весьма положительно отзывался о моих работах и моей карьере. И прежде чем продолжить спуск к подножию холма, он, помнится, несколько раз повторил:

— Для нас большая честь — иметь в соседях такого знаменитого художника, как вы, господин Оно.

С тех пор мы с доктором Сайто всегда почтительно здоровались друг с другом. Правда, после того, самого первого, разговора — и до недавних событий, послуживших основой для более близких отношений между нашими семьями, — мы редко останавливались для сколько-нибудь продолжительной беседы. Но мои воспоминания о той первой встрече, когда доктор Сайто сразу узнал мое имя, появившееся на стойке ворот, по-моему, ясно свидетельствуют о том, что моя старшая дочь Сэцуко глубоко заблуждалась, по крайней мере, в некоторых вещах, которые в прошлом месяце она пыталась мне внушить. Вряд ли возможно, например, что доктор Сайто понятия не имел, кто я такой, пока начавшиеся в прошлом году брачные переговоры не вынудили его это выяснить.

Поскольку в этом году Сэцуко приезжала к нам ненадолго и останавливалась у Норико и Таро в их новой квартире в районе Идзуминати, то наша с нею утренняя прогулка по парку Кавабэ оказалась для меня практически единственной возможностью как следует с нею поговорить. И потом я, естественно, без конца мысленно возвращался к этому разговору, все более и более убеждаясь, что у меня действительно были все основания сердиться на нее после некоторых ее заявлений.

В тот день, впрочем, я оказался просто не в состоянии принять слова Сэцуко близко к сердцу, ибо, насколько я помню, пребывал в прекрасном настроении, радуясь общению со старшей дочерью и прогулке по парку Кавабэ, где уже давненько не бывал. Месяц назад, если помните, дни стояли замечательные, солнечные, хотя листья уже начинали опадать. Мы с Сэцуко брели по широкой центральной аллее, обсаженной деревьями, и поскольку до того часа, когда мы договорились встретиться с Норико и Итиро возле статуи императора Тайсё, было еще далеко, мы не торопились, то и дело останавливаясь и любуясь осенним пейзажем.

Вы, возможно, согласитесь со мной: парк Кава-

бэ — самый полезный из парков нашего города; после долгой ходьбы по тесным людным улочкам района Кавабэ особенно приятно нырнуть в освежающую прохладу длинных тенистых аллей, под низко нависающие ветви старых деревьев. Но если вы в нашем городе недавно и не знакомы с историей парка Кавабэ, мне, пожалуй, стоит пояснить, почему этот парк всегда вызывал у меня самый живой интерес.

Гуляя по аллеям парка, вы не могли не обратить внимания на виднеющиеся то тут то там сквозь деревья небольшие, размером не более школьного двора, заросшие травой участки. Похоже, те, кто планировал парк, что-то затевали, но потом от своей затеи отказались, так и не доведя ее до конца. В общем, так оно и было на самом деле. Когда-то Акира Сугимура (тот самый, чей дом я купил вскоре после его смерти) выдвинул один из самых своих амбициозных проектов — план по переустройству парка Кавабэ. Насколько я знаю, имя Акиры Сугимуры сейчас не на слуху, но позвольте заметить: еще не так давно Сугимура бесспорно считался одним из самых влиятельных людей в нашем городе. Когда-то, насколько мне известно, он владел четырьмя особняками, и по городу просто невозможно было пройти, чтобы

не наткнуться на какое-нибудь предприятие, либо принадлежащее самому Сугимуре, либо тесно с ним связанное. Затем, где-то году в 1920-м или 1921-м, будучи на вершине успеха, Сугимура решил рискнуть значительной частью своего состояния и вложить свои капиталы в проект, который позволил бы ему навечно остаться в памяти жителей города. Он задумал полностью переделать парк Кавабэ, тогда весьма грязный и запущенный, превратив его в некое средоточие городской культуры. Ему хотелось не только расширить площадь самих зеленых насаждений и лужаек для отдыха людей, но и построить прямо в парке несколько крупных культурных центров — музей естественных наук; новое здание театра кабуки для школы имени Такахаси[7], которая в результате пожара потеряла свою сцену на улице Сирахама; новый концертный зал в европейском стиле; а также нечто весьма эксцентрическое — специальное кладбище для кошек и собак. Я не помню точно, что он еще планировал там создать, но планы, несомненно, имел грандиозные, рассчитывая не только полностью изменить облик района Кавабэ, но и перенести центр культурной

[7] Примечания: 7

Корэкиё Такахаси (1854–1936) — премьер-министр, затем министр финансов Японии, убитый офицерами-националистами.

жизни города на северный берег реки. Тем самым он хотел, как я уже говорил, навечно оставить свой след в облике родного города.

Работы в парке шли вовсю, когда Сугимура столкнулся с серьезными финансовыми затруднениями. Я не слишком хорошо представляю себе детали этого дела, но результат был плачевен: свой «культурный центр» Сугимура так никогда и не построил, потерял огромное состояние и навсегда утратил былое влияние в городе. После войны парк перешел в ведение городских властей, которые и проложили там широкие, обсаженные деревьями аллеи. А от грандиозных планов Сугимуры осталось одно воспоминание в виде странных прямоугольных пустырей, заросших травой, где должны были стоять его музеи и театры.

Я, кажется, раньше уже говорил, что мои отношения с семейством Сугимуры после его смерти — когда я покупал последний из его домов — не слишком располагали к тому, чтобы я сохранил об этом семействе теплые воспоминания. И все же стоит мне оказаться вблизи парка Кавабэ, как я начинаю думать о Сугимуре и о его великих планах и, признаюсь, испытываю восхищение этим человеком. Ведь тот, кто стремится под-

няться над повседневностью, вырваться за рамки посредственности, безусловно, заслуживает восхищения, даже если в итоге и терпит крах из-за своих честолюбивых планов. Более того, мне кажется, что Сугимура умер, отнюдь не чувствуя себя несчастным. Ибо поражение, которое он потерпел, ничуть не похоже на жалкие неудачи заурядных людей, и такой человек, как Сугимура, не мог этого не понимать. Если тебе не удалось сделать то, на что другие не имели ни смелости, ни желания даже решиться, это вполне может служить утешением — да нет, вызывать глубокое удовлетворение! — когда оглядываешься на прожитую жизнь.

Но я опять отвлекся; в мои намерения совершенно не входил столь подробный рассказ о Сугимуре. Итак, в тот день мы с Сэцуко просто гуляли по аллеям парка Кавабэ, и я наслаждался беседой с дочерью, несмотря на некоторые ее туманные замечания, смысл которых я полностью понял лишь некоторое время спустя. Впрочем, разговор нам все равно пришлось прервать, поскольку уже близился час назначенной встречи с Норико и Итиро, а впереди уже завиднелась статуя императора Тайсё, возле которой они и должны были нас ждать. Я уже всматривался в

лица сидевших на скамейках возле памятника, когда услышал громкий мальчишеский голос:

— А вот и дед!

Итиро бежал ко мне, раскинув руки, но в последний момент, видно, передумал обнимать меня и с торжественным видом протянул мне руку для рукопожатия.

— Добрый день, — сказал он очень деловым тоном.

— Ну, Итиро, ты стал совсем взрослым! Сколько ж тебе лет-то исполнилось?

— Восемь, наверное. Пожалуйста, дед, идем вон туда, мне нужно кое-что обсудить с тобой.

Мы с Сэцуко последовали за ним к скамье, где нас ждала Норико в новом ярком платье, которого я никогда раньше на ней не видел.

— Как ты сегодня весело выглядишь, Норико, — сказал я ей. — Я начинаю думать, что стоит дочери покинуть отчий дом, и она сразу становится неузнаваемой.

— А с какой стати женщина должна одеваться кое-как только потому, что она вышла замуж? — мгновенно парировала Норико, хотя мой комплимент ей был явно приятен.

Потом, помнится, мы еще немного посидели у памятника императору Тайсё, мирно беседуя.

Собственно, в парке мы встретились потому, что дочери мои давно уже собирались пройтись вдвоем по магазинам, а я обещал им, что зайду с Итиро в большой универмаг, мы пообедаем там в кафе, а потом я покажу ему центр города. Итиро не терпелось поскорее уйти, и он все тянул меня за руку и ныл:

— Дед, идем! Пусть эти женщины друг с другом болтают. У нас же с тобой дел полно!

Мы оказались в кафе универмага чуть позже того времени, когда у служащих бывает перерыв на обед, и народу в зале почти не осталось. Итиро некоторое время изучал выставленные для выбора блюда, а потом вдруг повернулся ко мне и сказал:

— А догадайся, дед, какую еду я теперь больше всего люблю?

— Хм… не знаю, Итиро. Пирожные? Мороженое?

— Шпинат! Шпинат — вот что дает человеку силы! — Он напыжился, старательно демонстрируя мне свои бицепсы.

— Ясно. Ну что ж, в «Джуниор-ланч» тоже входит шпинат.

— «Джуниор-ланч» — это для малышей!

— Возможно. Но это вкусно, и дедушка тоже,

наверное, себе такой закажет.

— Ладно. Тогда и я закажу «Джуниор-ланч». Просто чтобы составить тебе компанию. Только ты скажи, чтобы мне принесли побольше шпината, ладно?

— Обязательно скажу.

— А знаешь, дед, и тебе нужно есть шпинат как можно чаще. Он дает человеку силы.

Итиро выбрал столик у широкого окна и, ожидая, пока принесут наш заказ, все прижимался носом к стеклу, разглядывая главную улицу нашего города, деловито шумевшую четырьмя этажами ниже. Мы с Итиро не виделись больше года — с тех пор, как они с матерью в последний раз приезжали к нам, — на свадьбе Норико он не был из-за гриппа, — и меня просто поразило, как сильно повзрослел он за это время. Он не только подрос, но и вел себя по-другому — гораздо спокойнее, без детских капризов. Особенно изменились его глаза: они смотрели теперь совсем иначе, гораздо серьезнее.

Глядя на внука, не отлипавшего от окна, я не мог не заметить, как сильно он становится похож на своего отца. Было в нем, конечно, кое-что и от Сэцуко — в основном в манере поведения и мимике. Но больше всего меня — причем уже

не в первый раз — потрясло его сходство с моим покойным сыном. Просто удивительно, до чего Итиро напоминал мне восьмилетнего Кэндзи! Признаюсь, я всегда испытываю странное удовлетворение, если вижу в детях черточки, унаследованные от других членов семьи, и мечтаю, чтобы мой внук навсегда сохранил свое сходство с дядей.

Конечно же, мы не только в детстве открыты для того, чтобы обрести сходство с кем-то. В ранней юности, например, если у тебя есть любимый учитель или наставник, то и он непременно оставит свой след в твоем облике; и даже многие годы спустя, когда ты, возможно, придешь к переоценке, а может, и отрицанию того, чему учил тебя этот человек, все равно кое-что из внушенного им останется с тобой на всю жизнь — словно тень некогда оказанного им на тебя влияния. Скажем, я полностью отдаю себе отчет в том, что некоторые мои жесты — например, привычка размахивать руками, когда я что-то объясняю, — или специфические интонации, выражающие иронию или нетерпение, или даже целые фразы, которыми я особенно часто пользуюсь, переняты мною у Сэйдзи Мориямы, моего бывшего учителя. И я, возможно, не слишком обольщаюсь на свой

счет, предполагая, что и многие мои ученики тоже получили от меня подобное маленькое «наследство». Но мне бы хотелось надеяться, что, какой бы переоценке ни подвергли они события тех лет, когда я направлял их, большинство из них все же останется благодарно мне за те знания и навыки, которые я им дал. Что до меня, то сам я, каковы бы ни были недостатки моего учителя Сэйдзи Мориямы — мы всегда называли его Мори-сан — и чем бы ни закончились наши отношения, всегда буду считать те семь лет, что я провел на его фамильной вилле в холмистой местности префектуры Вакаба, одним из самых важных этапов своей жизни и карьеры.

Теперь, когда я пытаюсь восстановить в памяти облик этой виллы, то все время вспоминаю один особенно нравившийся мне вид на нее с горной тропы, ведущей к ближайшей деревне. С тропы вилла, стоящая в низине, воспринимается как прямоугольник из темного дерева, окруженный стеной старых кедров. Две длинные и одна короткая стороны этого прямоугольника обрамляют внутренний дворик, который с четвертой стороны замкнут оградой с бревенчатыми воротами и тесно растущими кедрами. Нелегко, должно быть, было в старину тем, кто явился с недобры-

ми намерениями, войти в такой двор с крепко запертыми тяжелыми воротами.

Впрочем, современный захватчик вряд ли счел бы подобное препятствие таким уж непреодолимым. Ибо, хотя с тропы этого было и не видно, вилла пребывала в состоянии все усиливавшейся разрухи. Сверху, с тропы, нельзя было даже догадаться, как оборваны обои в комнатах, как истерты татами, а доски пола настолько прогнили, что во многих местах можно запросто провалиться, если забыть об осторожности. И когда я вспоминаю эту виллу, как бы глядя на нее с близкого расстояния, то в памяти неизменно всплывает разбитая черепица на крыше, ржавые оконные решетки, провалившиеся полы на верандах. Крыша в доме постоянно протекала, причем каждый раз в новом месте, и после дождливой ночи в комнатах стоял запах отсырелого дерева и гниющей листвы. А в определенные месяцы года разные насекомые, мотыльки и ночные бабочки, вторгались на виллу в таких количествах, прилипая к каждой впадинке в деревянной облицовке, прячась в каждой трещинке, что мы всерьез начинали бояться, что из-за этих насекомых дом в итоге и развалится раз и навсегда.

Из всех комнат лишь две или три еще пребывали в относительно приличном состоянии, и по ним можно было догадаться, каким очарованием некогда обладала эта вилла. Одну из этих сохранившихся комнат, где большую часть дня царил ясный спокойный свет, Мори-сан отвел для особых случаев, и я хорошо помню, как время от времени он созывал туда всех нас, десятерых своих учеников, чтобы показать очередную только что законченную картину. Прежде чем войти, каждый из нас на мгновение замирал на пороге и, затаив от восторга дыхание, впивался глазами в картину, стоявшую на мольберте посреди комнаты. А Мори-сан, как бы не замечая нашего появления, тем временем занимался каким-нибудь комнатным растением или смотрел в окно. Затем все мы рассаживались на полу вокруг картины и начинали, показывая пальцами, шепотом обсуждать ее друг с другом: «Смотри, как сэнсэй заполнил вон тот уголок. Замечательно!» Но никто прямо не говорил: «Какая замечательная картина, сэнсэй!», ибо между нами существовала некая негласная договоренность: вести себя так, словно нашего учителя в комнате нет.

Мори-сан в своих работах часто использовал какие-то новые приемы, и тогда среди нас

разгорались весьма жаркие споры. Однажды, например, мы вошли да так и застыли перед картиной, на которой стоящая на коленях женщина была изображена так, будто глядишь на нее с какой-то удивительно низкой позиции — как бы лежа на полу.

— Очевидно, — помнится, доказывал кто-то, — такая низкая перспектива как бы придает позе натурщицы дополнительное достоинство, которого иначе она оказалась бы лишена. Прием в высшей степени удивительный. Потому что во всех прочих отношениях женщина эта выглядит весьма жалостливо. Созданное таким образом напряжение и придает картине ощутимую внутреннюю силу.

— Может, и так, — возражал кто-то. — Может, ее поза и выражает некое достоинство, но вряд ли это связано с низкой перспективой. Ясно же, что сэнсэй хотел сказать нечто более важное. Он говорит, что перспектива кажется низкой только потому, что мы слишком привыкли смотреть на предметы с обычного уровня. Совершенно ясно, сэнсэй хочет освободить нас от этой, в общем-то, случайной и ограничивающей нас привычки. Он словно говорит нам: «Разве так уж необходимо всегда видеть вещи в привычном до тошноты ра-

курсе?» Вот потому-то его полотно и производит столь сильное впечатление.

Вскоре все мы уже орали друг на друга, поскольку каждый выдвигал свою собственную теорию насчет намерений нашего учителя. И хотя, продолжая спорить, мы то и дело косились в его сторону, он никак не проявлял своего отношения ни к одной из высказанных теорий. Он просто стоял в дальнем конце комнаты, сложив руки на груди, и с довольной миной смотрел куда-то во двор сквозь деревянную решетку окна. Затем, вдоволь наслушавшись наших споров, Мори-сан повернулся к нам и сказал:

— Может быть, теперь вы оставите меня в покое? Мне бы хотелось кое-чем заняться.

Разумеется, мы тут же гуськом направились к выходу, на ходу шепча слова восхищения его новой работой.

Рассказывая об этом, я прекрасно понимаю, что кому-то поведение нашего учителя может показаться несколько высокомерным. Впрочем, то деланное равнодушие, которое Мори-сан проявлял в подобных случаях, легче понять тем, кто и сам бывал в положении человека, на которого окружающие смотрят исключительно снизу вверх и постоянно им восхищаются. Ведь ни в

коем случае не следует вечно все разжевывать своим ученикам; бывает немало ситуаций, когда лучше промолчать и дать им возможность самим поспорить и поразмышлять. Впрочем, я уже сказал: те, кто знает, что это такое — оказывать влияние на других, — легко поймут и оценят мудрость нашего сэнсэя.

Таким способом Мори-сан достигал того, что среди нас споры о его работах порой продолжались неделями. А когда он особенно долго тянул с разъяснениями, мы обычно обращались с вопросами к нашему коллеге Сасаки — он в тот период считался лучшим учеником Сэйдзи Мориямы. И хотя, как я уже говорил, горячие споры вполне могли затянуться, после того, как Сасаки высказывал свое мнение, всем дискуссиям сразу наступал конец. Подобным же образом, если Сасаки порой высказывался в том плане, что чья-то картина «не верна принципам нашего учителя», это почти всегда приводило к незамедлительной капитуляции «отступника». Он после этого либо забрасывал данную работу, либо даже сжигал ее с мусором.

Например, Черепаха в течение нескольких первых месяцев нашего с ним пребывания на вилле, помнится, не раз уничтожал свои тво-

рения при таких обстоятельствах. Ибо, если я довольно легко приспособился к существовавшему там порядку вещей, то в картинах моего старого приятеля то и дело появлялись элементы, явно противоречившие основным принципам Мориямы. И я не раз вступался за него перед нашими новыми коллегами, объясняя, что он не нарочно и никакой «неверности учителю» тут усматривать не стоит. В тот период Черепаха часто подходил ко мне с расстроенным видом, отводил меня в сторонку и, показывая наполовину законченную работу, шепотом спрашивал: «Оно-сан, скажи, пожалуйста, это так, как сделал бы и наш учитель?»

И порой даже я приходил в отчаяние, обнаружив, что он опять совершенно непреднамеренно использовал в своей работе какой-нибудь элемент или прием, который здесь сочтут оскорбительным. А ведь понять основные приоритеты нашего учителя было совсем не трудно. Сэйдзи Морияму недаром частенько называли «современным Утамаро»[8], хотя ярлык этот клеили в

[8] Примечания: 8

Китагава Утамаро (1753–1806) — японский живописец, один из лучших представителей школы «укиё-э», мастер цветной ксилографии. Для его творчества характерны изысканно-поэтические женские образы, как портреты, так и жанровые сценки.

те времена — и порой чересчур поспешно — на произведения любого приличного художника, специализировавшегося на создании портретов женщин из «веселых кварталов».

Впрочем, прозвище «современный Утамаро» в целом довольно хорошо отражало основные тенденции творчества Мориямы, ибо он действительно пытался «осовременить» традицию Утамаро; на многих самых известных его картинах — скажем, «Перевязывание барабана для танцев» или «После купания», — женщина изображена со спины, в классической манере Утамаро. В его работах возникают и другие классические мотивы: вот женщина вытирает лицо полотенцем; вот женщина, расчесывающая свои длинные волосы. При этом Мори-сан активно использовал традиционный способ изображения чувств в большей мере посредством ткани, в которую женщина одета или же держит в руках, чем передачей выражения ее лица. И в то же время в его работах явно чувствуется европейское влияние, которое наиболее стойкие адепты Утамаро сочли бы, наверное, кощунственным. Так, Мори-сан давно уже отказался от традиционного очерчивания контура предмета темной линией, предпочитая с помощью «западной» техники

— то есть сочетания различных цветов и игры светотени — создавать ощущение объемности. И, несомненно, именно европейцы подсказали ему то, что и создавало основное настроение в его работах: использование полутонов. Изображая своих женщин, Мори-сан стремился окутать их атмосферой, исполненной ночного мрака и меланхолии, и все время — во всяком случае, пока я у него учился, — экспериментировал с цветом, пытаясь передать ощущение, вызываемое светом уличного фонаря. Из-за этого присутствие такого фонаря — хоть где-нибудь в уголке, хотя бы намеком, — стало чем-то вроде фирменного знака его работ. Но для медлительного Черепахи, упорно пытавшегося усвоить особенности метода Мориямы, типичным было именно то, что он — уже целый год проведя на вилле! — по-прежнему использовал такие цвета, которые создавали в точности противоположный эффект. И он каждый раз удивлялся, почему его опять обвиняют в «неверности», ведь он уже не забывает включить в свою композицию уличный фонарь.

Несмотря на все мое заступничество, Сасаки, да и многим другим, явно не хватало снисходительности к Черепахе, и временами их отношение к нему угрожало стать таким же враждебным,

как это было на фирме мастера Такэды. А затем, где-то на второй год нашего пребывания на вилле, неожиданные перемены стали происходить с самим Сасаки. В итоге это привело к тому, что теперь уже он стал жертвой враждебного отношения остальных, и проявлялось это куда более жестоко, чем в период травли Черепахи, которую Сасаки и затеял.

Известно, что в любой группе учеников рано или поздно выявляется лидер — обычно это тот человек, способности которого учитель выделил особо, как предмет для подражания. Именно этот лидирующий ученик, лучше других усвоивший идеи учителя, чаще всего берет на себя функции основного их интерпретатора перед менее способными или менее опытными. Но верно и то, что, именно в силу своего таланта, тот же лидер раньше других замечает и недостатки своего учителя, или, скажем, у него возникает своя собственная точка зрения, весьма отличная от воззрений наставника. Теоретически, конечно, любой хороший наставник должен был бы смириться, принять как должное и даже приветствовать то, что его подопечный обретает зрелость суждений. В реальности, однако, у наставника в таких случаях возникают порой весьма сложные чувства.

Когда слишком долго и трудно пестуешь кого-то из одаренных учеников, невероятно трудно воспринимать такие признаки его созревшего таланта иначе, чем предательство, отрицание того, чему ты его учил; вот тут как раз и складываются иногда достойные сожаления ситуации.

Конечно, то, что мы творили с Сасаки после его споров с учителем, совершенно недопустимо, так что, пожалуй, не стоит и рассказывать об этом. Но мне все же хотелось бы описать тот вечер, когда Сасаки наконец не выдержал и ушел от нас, — этот вечер я помню особенно отчетливо.

Было уже поздно, и многие давно спали, но сам я лежал без сна в одной из темных полуразрушенных комнат виллы, когда вдруг услышал голос Сасаки. Он обращался к кому-то с веранды, но, похоже, ответа так и не получил. Вскоре послышались его шаги, он остановился у входа в одну из соседних комнат и снова что-то сказал, и снова ответом ему было молчание. Опять послышались его шаги, затем шорох, и я догадался, что он, раздвинув перегородку, проскользнул в комнату, смежную с моей.

— Мы столько лет были близкими друзьями, — услышал я его голос — Неужели нет желания хотя бы поговорить со мной?

Никакого ответа от того, к кому он обращался, не последовало, и он сказал:

— Неужели вы даже не скажете, где мои картины?

Ответа по-прежнему не было. В темноте я слышал, как скребутся крысы под полом в соседней комнате, и мне казалось, что эти звуки и есть некий ответ на вопросы Сасаки.

— Если мои картины столь оскорбительны для вас, — продолжал Сасаки, — почему же вы не отдаете их мне? Мне они сейчас очень нужны, я хочу забрать их с собой, куда бы мне теперь ни пришлось пойти. Больше мне с собой нечего взять.

И снова в ответ послышалась лишь возня крыс под полом; затем наступила полная тишина, и длилась она так долго, что я уж решил, что Сасаки так и ушел — так сказать, молча канул во тьму. Но тут снова раздался его голос:

— В последние дни все вели себя по отношению ко мне просто ужасно, но хуже всего то, что вы не пожелали сказать мне ни слова в утешение.

Снова последовало молчание. Затем Сасаки сказал:

— Неужели вы даже не посмотрите на меня, не пожелаете мне удачи?

И вскоре я услышал шуршание перегородки и легкие шаги Сасаки, когда он, сбежав с веранды, быстро пошел по двору прочь.

После ухода Сасаки о нем на вилле почти не вспоминали, а если и упоминали изредка, то без имени — просто «этот предатель». До какой степени оскорбительна была для нас сама память о Сасаки, я вспоминаю, воскрешая в памяти яростные стычки, завершавшие порой наши жаркие споры.

В теплые дни мы обычно полностью раздвигали перегородки в своих комнатах, и если несколько человек собирались у кого-то, то через двор они могли отлично видеть «группировку противника», собравшуюся в противоположном крыле. В итоге какой-нибудь «остроумец» обязательно начинал первым, сперва просто выкрикивая всякие насмешки в адрес оппонентов, но вскоре представители обеих группировок дружно высыпали на веранду и принимались через двор осыпать друг друга оскорблениями. Подобное поведение кажется, наверное, на редкость глупым, но, видно, было что-то такое в самой архитектуре виллы — точнее, в ее акустических особенностях, благодаря которым во время подобных словесных поединков возникало звонкое эхо, — что вдох-

новляло нас на подобные «игрища». Оскорбления разносились по всей округе — мы могли издеваться над чьей-то мужской удалью или над чьей-то только что законченной работой, но по большей части определенных границ не переступали, не имея все же намерения серьезно ранить кого-то. И, помнится, частенько этот «обмен любезностями» заставлял обе стороны хохотать до слез. В общем-то, эти громогласные распри больше напоминали задиристые, но вполне дружелюбные семейные перепалки, ибо мы действительно жили тогда на вилле как одна семья. Однако раз или два, когда кто-то ко всяким оскорблениям добавлял еще и имя Сасаки, ситуация выходила из-под контроля, и мы, отбросив всяческие ограничения, дружно высыпали во двор, где принимались драться уже всерьез. Довольно скоро нам пришлось понять, что никого нельзя даже в шутку сравнивать с «этим предателем», ибо вряд ли это будет принято с юмором.

Теперь вы, наверное, легко можете представить себе, сколь неистовой и всеобъемлющей была наша преданность учителю и его принципам. Оглядываясь назад и хорошо зная все недостатки подобного воспитания, легко критиковать учителя, поощрявшего такую атмосферу. Но, с

другой стороны, любой, кто был когда-либо одержим честолюбивыми мечтами, кто чувствовал, что способен достичь определенных высот, кто испытывал потребность как можно шире распространять свои идеи, должен проявить понимание и сочувствие к тем методам, с помощью которых Мори-сан управлял нами. Ибо — хотя сейчас мои слова и могут показаться смешными в свете того, чем закончилась карьера Сэйдзи Мориямы, — в те времена его заветной мечтой было ни много ни мало фундаментальное переосмысление самого подхода к живописи, по крайней мере среди художников нашего города. Вот о чем мечтал он, когда столько времени и здоровья отдавал пестованию своих учеников, и об этом, наверное, важно помнить, когда рассуждаешь о правильности методов моего бывшего учителя.

Его влияние сказывалось, разумеется, не только на наших занятиях живописью. В те годы мы практически всю свою жизнь строили согласно его системе ценностей, его образу и подобию, а потому, естественно, очень много времени уделяли исследованию ночного «зыбкого мира» — мира ночных удовольствий, развлечений и выпивки, и это всегда, хотя бы незримо, присутствовало в наших работах. Я неизменно испытываю своего

рода ностальгию, вспоминая центр города, каким он был в те дни: улицы еще не забиты грохочущим транспортом, предприятия еще не столь многочисленны и не могут полностью заглушить в ночном воздухе аромат цветущих растений. Излюбленным местом наших тогдашних посиделок служил небольшой чайный домик на улице Кодзима; он стоял на берегу канала и назывался «Водяные фонари», потому что, приближаясь к нему, замечаешь в первую очередь отражавшиеся в воде огни этого заведения. Хозяйка чайного домика была старинной приятельницей нашего учителя, что всегда обеспечивало нам самое лучшее и доброжелательное обслуживание. И я помню многие замечательные вечера, когда мы подолгу сидели там, пели и пили вместе с хозяйкой и прислуживавшими в домике девушками. Еще мы очень любили зал на улице Нагата, некогда служивший для стрельбы из лука; хозяйка его никогда не уставала напоминать нам, что в былые времена, когда она еще работала гейшей в Акихаре, Мори-сан использовал ее как натурщицу для целой серии деревянных гравюр, оттиски с которых впоследствии пользовались чрезвычайно большим спросом. На улице Нагата нам прислуживали сразу шесть или семь моло-

дых женщин, и через некоторое время у каждого из нас появилась своя собственная «фаворитка», с которой можно было и поболтать всласть, и ночь провести.

Наши веселые вылазки в город не ограничивались этими заведениями. Мори-сан, похоже, имел бесконечное множество знакомых, так или иначе связанных с миром развлечений, и на вилле постоянно появлялись нищие труппы бродячих актеров, танцоров и музыкантов, — их там приветствовали, как дорогих друзей, с которыми уже не чаяли увидеться. Горячительные напитки лились рекой, наши гости пели и танцевали ночь напролет, и вскоре кого-нибудь непременно посылали в ближайшую деревню разбудить торговца спиртным и пополнить наши запасы. Одним из регулярных посетителей виллы в те дни стал сказитель по имени Маки, толстый веселый человек, который мог то буквально до колик в животе довести всех своими смешными историями, то, уже через минуту, заставить всех плакать от сострадания к героям старинных преданий. Через много лет я несколько раз встречал Маки в «Миги-Хидари», и мы с некоторым изумлением вспоминали те ночи на вилле. Маки утверждал, что отлично помнит, как многие

из тех «вечеринок» затягивались на всю ночь и продолжались весь следующий день, плавно сменявшийся еще одной такой же веселой ночью. В этом я, правда, не очень уверен. Помнится, днем после подобных празднеств я в каждом углу натыкался на спящих или вконец обессилевших гуляк. Некоторые валялись во дворе прямо под палящими лучами солнца.

Но одна из таких ночей запомнилась мне более ярко. Мне удалось на какое-то время улизнуть от остальных пирующих, и я вышел во двор прогуляться, с благодарностью вдыхая свежий ночной воздух. Подойдя к дверям кладовой, я оглянулся: по ту сторону двора за бумажной перегородкой мелькали тени моих приятелей и наших гостей. Я видел силуэты танцующих и слышал голос певца, плывущий ко мне сквозь ночь.

Мне захотелось немного посидеть в кладовой — это было одно из тех немногих мест на вилле, где меня какое-то время никто бы не потревожил. Мне представляется, что в те времена, когда здесь имелись охрана и слуги, это помещение использовали для хранения оружия и доспехов. Но теперь сюда просто сваливали всякий ненужный хлам, и стоило мне переступить порог и зажечь фонарь, висевший над дверью, как я

понял, что пройти внутрь будет нелегко. Чего здесь только не было: связанные в кипы старые холсты, сломанные мольберты, всевозможные горшки и кувшины, из которых торчали кисти и тюбики с засохшей краской. Наконец я отыскал на полу небольшую «прогалину» и сел. От близко висящего фонаря весь этот хлам вокруг меня отбрасывал на стены гигантские тени. Эффект был жутковатый — будто сидишь посреди какого-то гротескного миниатюрного кладбища.

Я, должно быть, настолько погрузился в собственные фантазии, что даже вздрогнул от неожиданности, услышав, как скрипнула, открываясь, дверь кладовой. Я поднял глаза и увидел, что в дверях стоит Мори-сан.

— Добрый вечер, сэнсэй, — торопливо сказал я.

Возможно, света в кладовой было маловато, а может, просто лицо мое находилось в тени, но Мори-сан узнал меня не сразу. Он чуть наклонился, вглядываясь во тьму, и спросил: — Кто тут? Это ты, Оно?

— Да, это я, сэнсэй.

Он еще какое-то время пытался рассмотреть меня в темноте, потом снял с крюка фонарь и, держа его перед собой, стал пробираться ко мне, осторожно перешагивая через валявшиеся на

полу предметы. Когда он двигался, фонарь в его руке заставлял тени метаться вокруг нас в причудливом танце. Я поспешно расчистил для него местечко на полу, но он уселся в некотором отдалении от меня на старый деревянный сундук, вздохнул и сказал:

— Я вышел на минутку подышать свежим воздухом и увидел здесь свет. Вокруг кромешная тьма, а тут огонек горит. Я и подумал: вряд ли эта кладовая годится для того, чтобы там прятались влюбленные, а значит, тот, кто сейчас там, наверняка ищет одиночества.

— Я, должно быть, просто задремал, сэнсэй. Я совсем не собирался сидеть здесь так долго.

Мори-сан поставил фонарь на пол возле себя, и теперь мне был виден только его силуэт.

— Ты, похоже, понравился одной из этих танцовщиц, — сказал он. — Она все тебя высматривала и будет весьма разочарована тем, что ближе к ночи ты вдруг взял да исчез.

— Но, сэнсэй, я вовсе не хотел никого обижать! Я, как и вы, просто вышел на минутку подышать свежим воздухом…

Некоторое время мы молчали. Через двор до нас доносилось пение; все дружно отбивали такт, хлопая в ладоши.

— А скажи мне, Оно, — снова заговорил Мори-сан, — как тебе мой старый друг Гидзабуро? Выдающаяся личность, верно?

— Да, сэнсэй. И, по-моему, очень приятный, любезный человек.

— Сейчас он, возможно, и пообтрепался, но когда-то слыл настоящей знаменитостью. И, как мы смогли убедиться сегодня вечером, еще сохранил немало прежнего мастерства.

— Это верно.

— Ну ладно, Оно. Говори, что тебя тревожит?

— Тревожит, сэнсэй? Да нет, ничто меня не тревожит.

— А может, тебя покоробили манеры старого Гидзабуро?

— Да что вы, сэнсэй, вовсе нет! — Я смущенно рассмеялся. — Ничего подобного! Такой приятный господин!

Мы еще немного поговорили, перескакивая с одного предмета на другой. Но когда Мори-сан вновь вернулся к моим «тревогам», мне стало ясно, что он готов сидеть здесь до тех пор, пока я не облегчу перед ним душу. И я наконец решился и сказал:

— Гидзабуро-сан, возможно, и впрямь самый добрый человек на свете. И он сам, и его танцоры

так мило и с такой готовностью нас развлекали. Но, сэнсэй, мне отчего-то кажется, что в последние несколько месяцев нас слишком часто посещают такие люди, как Гидзабуро-сан и его приятели.

Я помолчал, но Мори-сан не сказал ни слова, и я решил продолжить:

— Простите, сэнсэй, если это прозвучало неуважительно по отношению к вашим друзьям. Я, право же, никого не хотел обидеть, но порой меня все это несколько озадачивает. Мне кажется странным, отчего мы, художники, должны посвящать так много своего времени развлечениям в обществе таких людей, как Гидзабуро-сан.

Вот тут-то, помнится, Мори-сан вдруг поднялся и, держа в руке фонарь, осторожно двинулся через всю кладовую к дальней стене, что совершенно скрывалась во тьме. Добравшись до нужного места, он поднял фонарь повыше, и мне стали видны три оттиска, сделанные с деревянных гравюр и висевшие на задней стене кладовой один под другим. На каждом была изображена гейша, поправляющая прическу, сидя на полу спиной к художнику. Мори-сан несколько минут смотрел на гравюры, по очереди освещая их фонарем, затем покачал головой и пробормотал себе под нос:

— Безнадежно плохо! Можно сказать, плохо во всех отношениях. — Он немного помолчал и, не оборачиваясь, прибавил: — Но отчего-то художнику всегда особенно дороги его ранние произведения. Возможно, и ты, Оно, когда-нибудь испытаешь те же чувства к работам, которые сделал здесь. — Он снова посмотрел на гравюры и покачал головой: — Но эти гравюры все же безнадежно плохи.

— Не могу согласиться с вами, сэнсэй! — пылко возразил я. — Мне как раз кажется, что эти гравюры просто великолепны! Это яркое свидетельство того, что талант художника способен легко преодолеть ограничения заданного стиля. Я не раз думал, какая жалость, что ваши ранние работы, сэнсэй, спрятаны в таких вот помещениях. Их, конечно же, следует выставлять вместе с вашими нынешними полотнами!

Но Мори-сан, казалось, меня не слушал, по-прежнему созерцая свои гравюры.

— Да, безнадежно плохо, — снова пробормотал он. — Наверное, я тогда был еще слишком молод. — Он снова поводил фонарем по стене, отчего гравюры по очереди то скрывались во тьме, то появлялись вновь. — Это все гейши из одного чайного домика в Хонтё. Во времена моей юности

этот чайный домик считался одним из лучших. Мы с Гидзабуро частенько посещали подобные места. — Он немного помолчал. — И все-таки, Оно, эти гравюры никуда не годятся.

— Но, сэнсэй, по-моему, даже самый придирчивый критик вряд ли отыщет в них какие-то недостатки!

Мори-сан еще раз посмотрел на гравюры, потом встал и двинулся в обратный путь — через всю кладовую к двери. Мне показалось, что идет он уж как-то чересчур долго, с трудом пробираясь среди наваленных на полу предметов; порой я слышал, как он что-то бормочет себе под нос или ногой отодвигает в сторону очередной кувшин или коробку. Честно говоря, мне даже подумалось, что он что-то ищет — может быть, еще какие-то свои ранние работы, погребенные под этими грудами хлама. Но он вскоре вернулся и со вздохом снова уселся на тот же сундук. Некоторое время мы оба молчали. Потом он заговорил:

— Гидзабуро — несчастный человек. И жизнь его была исполнена печали. Его талант давно угас, а все те, кого он любил, умерли или покинули его. Даже в дни нашей молодости он уже казался очень одиноким и вечно печальным. — Мори-сан вздохнул. — Но иногда, бывало, мы с

ним вместе выпивали и развлекались с женщинами из «веселых кварталов», и тогда Гидзабуро бывал почти счастлив. Ведь эти женщины всегда говорили ему именно то, что ему больше всего хотелось услышать, и худо-бедно до утра он мог верить, что все это так и есть. Он слишком умен и тонок, и вера его в эти слова исчезала с появлением зари. Но, несмотря на это, Гидзабуро по-прежнему ценил эти веселые ночи. Все самое хорошее, утверждал он, складывается ночью, а утром тает без следа. Видишь ли, Оно, Гидзабуро отлично понимал и умел ценить тот ночной мир, который часто называют «зыбким миром».

Мори-сан снова умолк. Я, как и прежде, видел только его силуэт, и мне казалось, что он внимательно прислушивается к звукам развеселого пиршества, доносящимся с той стороны двора.

— Теперь Гидзабуро стал значительно старше и еще печальнее, — снова заговорил Мори-сан, — но во многих отношениях он изменился мало. И сегодня вечером он чувствует себя счастливым — как бывало когда-то, в одном из чайных домиков, среди гейш. — Мори-сан сделал несколько коротких глубоких вдохов, словно раскуривая трубку. — Самая изысканная, самая хрупкая красота, которую художник может только надеяться

уловить, расцветает как раз в таких вот чайных домиках с наступлением темноты. И в такие ночи, Оно, красота эта, проплывая над миром, может порой заглянуть и в наши жилища. А что касается тех гравюр на задней стене кладовой, то в них нет даже намека на эту неуловимую, призрачную красоту. Вот поэтому они никуда и не годятся, Оно.

— Но, сэнсэй, по-моему, они как раз очень выразительно передают то, о чем вы говорите!

— Нет, я был слишком молод, когда делал эти гравюры. И не сумел воспеть тот «зыбкий мир», потому что никак не мог заставить себя поверить в его ценность. Молодые люди часто испытывают чувство вины, предаваясь удовольствиям, наверное, и я был таким же и считал, что проводить столько времени в злачных местах, тратить свое мастерство на воспевание вещей преходящих, почти неуловимых просто бессмысленно. Я считал это декадентством. Разве можно по-настоящему оценить красоту мира, если сомневаешься, имеет ли он право на существование?

Обдумав его слова, я заметил:

— А знаете, сэнсэй, все, что вы сказали, в той же степени относится и к моим работам. Но я непременно постараюсь исправиться.

— Впрочем, я давно уже избавился от подобных сомнений, — продолжал Мори-сан, словно не слыша меня. — Если, став стариком и оглядываясь на прожитую жизнь, я пойму, что всю ее посвятил попытке изобразить неповторимую красоту «зыбкого мира», то буду, я уверен в этом, очень собой доволен. И никто на свете не заставит меня поверить, что я прожил свою жизнь зря.

Может, конечно, Мори-сан сказал это немного иначе. Всегда ведь, когда пересказываешь чьи-то слова, они становятся куда более похожими на твои собственные — примерно так я мог бы вещать в компании своих учеников после того, как мы уже немного выпили в «Миги-Хидари». Что-нибудь этакое: «Будучи новым поколением японских художников, вы несете огромную ответственность перед всей нашей культурой. Я горжусь, что у меня такие ученики! И пусть мои собственные произведения заслуживают лишь самой незначительной похвалы, но я, оглядываясь на прожитую жизнь и понимая, скольких я воспитал, скольким помог сделать отличную карьеру, чувствую: никто на свете не заставит меня поверить, что я прожил свою жизнь зря». Обычно после подобных заявлений молодежь, собравшаяся за столом, начинала дружно возражать,

заглушая друг друга и требуя, чтобы я перестал столь пренебрежительно отзываться о своих работах, которые, по их твердому убеждению, являются творениями поистине гениальными и наверняка займут должное место в жизни грядущих поколений. С другой стороны, как я уже говорил, многие характерные для меня фразы и выражения я действительно унаследовал от своего учителя, так что, вполне возможно, именно эти слова и произнес в тот вечер Мори-сан, и они навсегда отпечатались в моей памяти, ибо произвели на меня сильнейшее впечатление.

Впрочем, меня снова унесло в сторону. Я ведь пытался рассказать, как месяц назад мы обедали с внуком в кафе большого универмага после весьма неприятного разговора, который состоялся у меня с Сэцуко в парке Кавабэ. Помнится, я рассказывал, как Итиро нахваливал шпинат, «дающий силу».

Как только нам подали обед, Итиро принялся сгребать ложкой шпинат на тарелке. Потом посмотрел на меня и со словами «Гляди-ка, дед!» набрал полную ложку шпината и, высоко подняв ее, стал ссыпать содержимое себе в рот — эти движения напоминали действия пьяницы, пытающегося добыть из бутылки последние капли

спиртного.

— Итиро, — сказал я ему, — мне кажется, ты ведешь себя не совсем прилично.

Но мой внук, энергично жуя, продолжал наполнять себе рот шпинатом. Он опустил ложку, только когда в ней ничего не осталось, а щеки готовы были лопнуть. Затем, еще не проглотив все до конца, он с суровым видом выпятил грудь и принялся яростно наносить кулаками удары невидимому противнику.

— Что это ты делаешь, Итиро? Объясни, что ты хотел мне показать.

— А ты догадайся! — с трудом пробурчал он — ему мешала шпинатная каша во рту.

— Хм… нет, не знаю, Итиро. Может быть, это человек, который выпил сакэ, а теперь храбро сражается с врагами? Нет? Ну, тогда сам скажи. Дедушке ни за что не догадаться.

— Это моряк Попай!

— А он кто? Один из твоих любимых героев?

— Попай всегда ест шпинат. Шпинат делает его сильным[9]. — Итиро еще больше выпятил грудь

---

[9] Примечания: 9

Попай (Пучеглаз) — долговязый матрос, герой американского мультипликационного сериала Макса Флейшера (более 250 серий, 1933–1950); для борьбы с главным злодеем (Блуто) Пучеглаз подкреплялся консервированным Шпинатом и обретал сверхъестественную силу.

и нанес невидимому врагу несколько свирепых ударов.

— Понятно, — смеясь, сказал я. — Видно, шпинат и впрямь еда чудодейственная.

— А сакэ тоже делает человека сильным?

Я улыбнулся и покачал головой.

— Нет, но сакэ может заставить человека поверить, что он очень сильный. Хотя на самом деле он ничуть не сильнее, чем до того, как выпил сакэ.

— Зачем же тогда люди его пьют?

— Не знаю, Итиро. Может, для того, чтобы хоть ненадолго поверить, что стали сильными. Только силы сакэ не дает.

— А вот шпинат дает!

— Значит, шпинат гораздо лучше сакэ. Ты и впредь продолжай его есть, Итиро. Но ты, по-моему, забыл обо всем остальном, что лежит у тебя на тарелке.

— Мне тоже нравится пить сакэ! И виски. Дома у нас есть один бар, куда я всегда хожу пить сакэ.

— Да неужели? По-моему, лучше бы ты продолжал увлекаться шпинатом. Ты же сам сказал, что шпинат сил прибавляет.

— А мне больше нравится сакэ! Я каждый вечер выпиваю по десять бутылок. И еще десять

бутылок виски!

— Ого! Ты правду говоришь, Итиро? Тогда, значит, ты у нас настоящий пьяница. Вот, должно быть, беда для твоей мамы!

— Женщины ничего не понимают в настоящей мужской выпивке, — заявил Итиро, обратив наконец внимание на стоявшую перед ним еду. Впрочем, вскоре он снова отвлекся и посмотрел на меня. — Дед, — спросил он, — а ты сегодня придешь к нам ужинать?

— Да, приду. И очень рассчитываю, что тетя Норико приготовит какое-нибудь особенно вкусное кушанье.

— Тетя Норико купила сакэ. И сказала, что ты, дед, с дядей Таро все и выпьете.

— Ну, это мы запросто. Но я уверен, что и женщины тоже не откажутся немножко выпить с нами. Хотя Норико права: сакэ пьют в основном мужчины.

— Дед, а что бывает, если женщины выпьют сакэ?

— Хм… кто его знает? Женщины, Итиро, не такие сильные, как мы, мужчины. Так что, наверное, они очень быстро опьянеют.

— И тетя Норико может запьянеть! Ну да, она совсем чуточку выпьет и сразу запьянеет!

Я засмеялся.

— Да, это вполне возможно.

— Тетя Норико может стать совсем пьяной! И начнет песни петь! А потом возьмет и уснет прямо за столом!

— Ну что ж, Итиро, — сказал я, смеясь, — в таком случае лучше нам, мужчинам, приберечь сакэ для себя.

— Мы ведь гораздо сильнее женщин, а потому и выпить можем больше.

— Верно, Итиро. Так что сакэ мы лучше оставим себе.

Я на минутку задумался и спросил:

— А ведь, по-моему, восемь тебе уже исполнилось, да? Скоро ты совсем большим станешь. Не могу сказать наверняка, но, возможно, мне удастся сделать так, чтобы сегодня вечером и тебе дали немножко сакэ.

Мой внук с несколько испуганным видом уставился на меня и промолчал. Я улыбнулся ему и посмотрел на тусклое серое небо за окном.

— Ты никогда не видел своего дядю Кэндзи, Итиро, — сказал я, — но ты на него очень похож. В восемь лет он был таким же большим и крепким мальчиком, как ты. И как раз в восемь лет он, помнится, впервые попробовал сакэ. Ладно,

Итиро, я постараюсь, чтобы сегодня и тебе чуть-чуть дали.

Итиро, похоже, с минуту обдумывал сказанное мною, потом сказал:

— Мама может не позволить.

— Насчет мамы не беспокойся. С ней твой дед уж как-нибудь справится.

Итиро сокрушенно покачал головой и заметил:

— Женщины никогда не понимали, зачем мужчины пьют!

— Ничего, пришло время и тебе, как настоящему мужчине, попробовать сакэ. Так что насчет мамы не тревожься. Предоставь ее мне. Мы же не можем позволить женщинам во всем командовать нами, верно?

Но мой внук уже думал о чем-то своем. Вдруг он очень громко воскликнул:

— А тетя Норико может запьянеть!

Я засмеялся и сказал:

— Посмотрим.

— Тетя Норико может стать совсем пьяной!

Минут через пятнадцать, когда мы уже заказали мороженое, Итиро задумчиво спросил:

— Дед, а ты знал Юдзиро Нагути?

— Ты, должно быть, имел в виду Юкио Нагу-

ти? Нет, Итиро, я никогда не был с ним лично знаком.

Итиро промолчал, изучая собственное отражение в стеклянной панели окна.

— Твоя мама, — продолжал я, — тоже, по-моему, имела в виду господина Нагути, когда я разговаривал с ней сегодня утром в парке. И ты, наверное, слышал, как взрослые вчера за ужином говорили об этом человеке, да?

Итиро еще помолчал, любуясь своим отражением, потом повернулся ко мне и спросил:

— А господин Нагути был как ты, дед?

— Был ли господин Нагути похож на меня, ты хочешь спросить? Ну, для начала, мама твоя, по-моему, так совсем не считает. Просто однажды я кое-что сказал дяде Таро, так, ничего особенного, но мама твоя, видно, отнеслась к моим словам чересчур серьезно. Я уж и не помню точно, о чем мы с дядей Таро тогда разговаривали; наверное, я просто предположил, что и у меня есть что-то общее с такими людьми, как господин Нагути. Ну-ка, Итиро, скажи мне, о чем взрослые говорили вчера вечером?

— Дед, а почему господин Нагути убил себя?

— Трудно сказать наверняка. Я ведь никогда не был с ним лично знаком.

— А он был плохим?

— Нет. Он не был плохим. Он просто очень много работал во имя того, что считал самым лучшим на свете. Но, видишь ли, Итиро, после войны все стало совсем по-другому. Песни, которые сочинял господин Нагути, когда-то были очень популярны не только в нашем городе, но и во всей Японии. Их исполняли по радио, пели в кафе и барах. И такие, как твой дядя Кэндзи, пели их, когда шли в бой или накануне сражения. А после войны… после войны господин Нагути решил, что его песни оказались… ну, вроде как ошибкой. Он стал думать обо всех тех, кто погиб на войне, и о тех мальчиках, твоих ровесниках, Итиро, которые лишились родителей, и, думая об этом, он, наверное, понял, что песни его оказались ошибкой. И почувствовал, что должен попросить прощения. У всех, кто остался в живых. У маленьких мальчиков, потерявших родителей. И у родителей, потерявших своих сыновей, таких же мальчиков, как ты. И всем этим людям ему хотелось сказать: «Простите меня!» Я думаю, господин Нагути поэтому и убил себя. Нет, он был очень даже неплохим человеком, Итиро. У него хватило мужества признать совершенные им ошибки. Да, это очень храбрый и достойный

человек, Итиро.

Итиро задумчиво смотрел на меня и молчал. И я, чуть усмехнувшись, спросил:

— Ну, а теперь в чем дело, Итиро?

Мой внук, похоже, хотел что-то сказать, но передумал и отвернулся к окну, глядя на свое отражение в стекле.

— Ты пойми, Итиро, твой дедушка ничего особенного не имел в виду, сказав, что и он похож на господина Нагути, — снова заговорил я. — Я просто вроде как пошутил, только и всего. Ты скажи это своей маме, когда в следующий раз услышишь, что она говорит с кем-то о господине Нагути. Потому что, судя по ее сегодняшним речам, она все поняла совершенно неправильно. Да в чем, наконец, дело, Итиро? Что это ты вдруг так притих?

После обеда мы с Итиро некоторое время бродили по магазинам в центре города, рассматривая игрушки и книги. Затем, уже ближе к вечеру, я еще разок угостил внука мороженым в одном из нарядных кафе на улице Сакурабаси, и мы отправились в район Идзуминати, где в новом доме жили Таро и Норико.

Район Идзуминати, как вы, возможно, знаете, стал весьма популярен у молодоженов из обеспе-

ченных семей, и там, естественно, царят чистота и респектабельность. Однако эти новенькие квартиры, столь привлекательные для молодых пар, построены, на мой взгляд, безо всякой выдумки и тесны — не повернуться. В расположенной на четвертом этаже маленькой двухкомнатной квартирке Таро и Норико, например, потолки низкие, соседей слышно отлично, а окна смотрят прямо в окна точно такой же квартиры напротив. Не сомневаюсь, что, поживи я немного в их доме, и у меня вскоре развилась бы клаустрофобия — причем не только потому, что я привык к своему куда более просторному «традиционному» дому. Норико, впрочем, страшно гордится своей квартирой и вечно превозносит ее «современные» удобства. Наверное, такое жилище действительно очень легко содержать в чистоте, да и проветривается оно прекрасно. Кухня и ванная у них, как и во всем доме, оборудованы по европейскому образцу, что, как уверяет меня Норико, чрезвычайно практично. «Гораздо лучше, чем в твоем старом доме, папа».

Но как бы ни была удобна ее кухонька, она все же слишком мала, и когда я в тот вечер заглянул туда, чтобы посмотреть, как продвигается у моих дочерей подготовка ужина, мне показалось, что

для меня места там уже не найдется. Кроме того, обе женщины были, похоже, очень заняты, так что я не стал особо задерживаться, но все же заметил:

— А знаете, Итиро сегодня мне все твердил, что ему очень хочется попробовать сакэ.

Сэцуко и Норико, которые, стоя бок о бок, дружно резали овощи, тут же перестали стучать ножами и уставились на меня.

— Я и подумал, что, наверное, можно ему дать капельку, — продолжал я, — С водой, конечно.

— Извини, папа, но ты, кажется, предлагаешь сегодня вечером угостить Итиро сакэ? — спросила Сэцуко.

— Я же сказал: капельку. И с водой. Он ведь уже большой мальчик!

Мои дочери переглянулись. И Норико сказала:

— Папа, ему всего восемь лет!

— Ну и что? Никакого вреда ему от капельки сакэ не будет. Особенно если водой развести. Вы, женщины, наверное, этого не понимаете, но для мальчиков в возрасте Итиро подобные вещи имеют огромное значение. Для них это, если угодно, предмет гордости. Да Итиро такое событие на всю жизнь запомнит!

— Ах, какая чушь, папа! — заявила Норико.

— Его же просто стошнит.

— Чушь или не чушь, а я тщательно все обдумал. Вы, женщины, порой просто не желаете проявить должное сочувствие к мальчишеской гордости. — Я указал на бутылку сакэ, стоявшую на полке у Норико над головой, — Ведь одной капли вполне достаточно!

И с этими словами я хотел уже удалиться, но услышал, как Норико говорит у меня за спиной:

— Нет, Сэцуко, об этом не может быть и речи! Не знаю, что уж там думает папа…

— Послушайте, с чего это вы так всполошились? — сказал я, обернувшись уже от двери. Из гостиной доносились веселые голоса и смех Таро и Итиро, так что пришлось говорить потише. — В общем, так: я ему это обещал, и он ждет обещанного. Нет, все-таки вы, женщины, иногда совсем ничего не понимаете в мужской гордости!

Я опять повернулся, чтобы уйти, но тут заговорила Сэцуко:

— С твоей стороны, папа, очень мило, конечно, проявить такую заботу о чувствах Итиро, и все же мне кажется, с сакэ лучше бы подождать, пока он станет постарше.

Я усмехнулся.

— А знаешь, твоя мать, помнится, точно так же

возражала, когда я разрешил Кэндзи попробовать сакэ. Ему тогда было примерно столько же, сколько сейчас Итиро. И, разумеется, ни малейшего вреда ему это не принесло.

Я сказал это и тут же пожалел, что из-за такой ерунды упомянул имя Кэндзи. Я так разозлился на себя, что, видимо, не обратил должного внимания на следующую реплику Сэцуко, а сказала она, по-моему, примерно следующее:

— Не сомневаюсь, папа, что ты самым внимательным образом относился к воспитанию моего брата. Тем не менее в свете того, что случилось потом, можно, наверное, считать, что кое в чем мама имела более правильные представления.

Если честно, она, вполне возможно, сказала это иначе. И уж наверняка не хотела меня обидеть. По всей видимости, это я совершенно неправильно ее понял, ибо отчетливо помню, что Норико абсолютно не прореагировала на слова сестры, а с усталым видом отвернулась к столу и снова принялась резать овощи. Кроме того, мне и в голову прийти не могло, что Сэцуко способна разговаривать с отцом в таком непростительном тоне. И все же, вспоминая те инсинуации, которые она позволила себе утром в парке Кавабэ, я вынужден допустить, что она действительно

могла сказать мне нечто подобное. Во всяком случае ее последние слова я помню хорошо:

— Кроме того, боюсь, и Суйти вряд ли захочет, чтобы Итиро пробовал сакэ, пока не станет чуть старше, — сказала она. — Хотя, конечно, с твоей стороны, папа, очень мило проявлять такую заботу о чувствах Итиро.

Понимая, что мой внук вполне мог все это случайно услышать, и не желая омрачать ссорой столь редкий семейный вечер, я решил прекратить всякие разговоры и вышел из кухни, а потом, помнится, все время просидел в гостиной, весело болтая с Таро и Итиро в ожидании ужина.

Примерно через час мы наконец сели есть; Итиро тут же потянулся к бутылке сакэ, стоявшей на столе, постучал по ней пальцем и выразительно посмотрел на меня. Я улыбнулся ему, но ничего не сказал.

Женщины приготовили чудесный ужин, и вскоре беседа за столом потекла легко и непринужденно. В какой-то момент Таро сильно рассмешил нас всех, рассказывая о своем коллеге, который благодаря собственной комической глупости в сочетании с невезением заслужил репутацию человека, который никогда ничего не успевает сделать вовремя. И вдруг я услышал,

как Таро говорит:

— Дошло до того, что даже наше начальство стало звать его Черепахой. И недавно во время одной деловой встречи господин Хаясака настолько забылся, что при всех объявил: «А теперь послушаем сообщение господина Черепахи, после чего устроим перерыв на обед».

— Правда? — с удивлением воскликнул я. — Как это забавно! И у меня когда-то был коллега с таким же прозвищем, которое получил, похоже, по аналогичным причинам.

Но Таро подобное совпадение, по-моему, не слишком удивило. Он вежливо кивнул мне и сказал:

— Помнится, и в школе у нас одного типа тоже все звали Черепахой. Я думаю, что на самом деле в каждом коллективе есть и свой естественный лидер, и своя «черепаха».

И Таро снова принялся смешить всех своими историями. Вспоминая теперь его слова, я прихожу к выводу, что зять мой, скорее всего, был прав; практически в любой группе людей, более-менее равных друг другу, всегда есть своя «черепаха», даже если этого человека и не всегда так называют. Среди моих учеников, к примеру, такую роль играл Синтаро. Я отнюдь не пытаюсь

этим как-то умалить достоинства Синтаро, его знания и умения; но если начать его сравнивать, скажем, с Куродой, то покажется, что и таланта в нем тоже маловато.

Я, наверное, вообще «черепах» не особенно люблю. Если кто-то и ценит их за трудолюбие, медлительное упорство и способность к выживанию, то другие вполне могут их заподозрить в недостаточной откровенности и способности к предательству. И наконец кое-кто, наверное, даже презирает их за нежелание хотя бы чуточку рискнуть, даже во имя собственных честолюбивых целей или во имя тех принципов, которые они, по их же собственным словам, исповедуют. Такой человек никогда не станет жертвой крупной финансовой катастрофы, какую пришлось пережить, например, Акире Сугимуре, когда он все свои средства вложил в переустройство парка Кавабэ; но верно также и то, что при всей своей мизерной респектабельности некоторые из них могут порой достичь положения, скажем, школьного учителя или чего-то в этом роде, никогда не поднимаясь выше среднего уровня.

Скажу откровенно: я действительно успел полюбить Черепаху за те годы, которые мы провели вместе на вилле Сэйдзи Мориямы, но вряд ли

когда-либо относился к нему с должным уважением, как к равному. Так уж получилось, ведь наша дружба складывалась в те дни, когда Черепаху на фирме мастера Такэды подвергали всевозможным гонениям, да и в первые месяцы нашей жизни на вилле ему приходилось нелегко. А я постоянно оказывал ему неоценимую, по его словам, поддержку, и он считал себя в вечном долгу передо мной. Даже годы спустя, когда Черепаха наконец научился работать, не вызывая раздражения у других обитателей виллы, и, мало того, стал чуть ли не всеобщим любимцем благодаря своему мягкому услужливому характеру и приятным манерам, он не упускал случая поблагодарить меня:

— Я так тебе признателен, Оно-сан! Ведь только благодаря тебе со мной здесь так хорошо обращаются.

В каком-то смысле Черепаха, пожалуй, действительно был мне обязан; ведь ясно же, что, если бы я не потащил его за собой, он никогда бы не решился оставить мастера Такэду и перебраться на виллу. Он исключительно неохотно решился на столь авантюрный шаг, зато потом ни разу не усомнился в принятом решении. И Мори-сан стал для него, по крайней мере на первые года два,

настоящим божеством; он, помнится, даже не в состоянии был поддерживать с нашим учителем нормальный разговор и с трудом выдавливал из себя лишь тихое «да, сэнсэй» или «нет, сэнсэй».

Но рисовать Черепаха продолжал так же медленно, как и прежде, хотя на вилле никому и в голову не приходило его за это упрекать. Там было еще несколько человек, тоже работавших медленно, и эта «фракция» даже подшучивала над нами, что это мы работаем слишком быстро. Они, помнится, прозвали нас «машинистами» из-за того, с какой лихорадочной скоростью и интенсивностью мы воплощаем в жизнь любую идею, которая только придет нам в голову, — уподобляя нас машинистам паровоза, спешащим подбросить уголь в топку, пока пар в котле не иссяк. Мы же, в свою очередь, прозвали их «ретроглядами» — из-за того, что в нашем тесно уставленном мольбертами помещении они каждые несколько минут отступали от своего холста на несколько шагов полюбоваться на свою работу, постоянно натыкаясь при этом на работавших у них за спиной. Было бы, разумеется, несправедливо винить художника, который любит работать неторопливо, как бы постоянно отступая назад (в том числе и в переносном смысле), в том, что он умышлен-

но нарушает правила поведения в мастерской, но нас, готовых в те времена смеяться над чем угодно, ужасно веселила эта кличка, носившая несколько провокационный характер. Я помню, сколько шутливых перепалок возникало между «машинистами» и «ретроглядами».

«Ретроглядом», честно говоря, можно было бы назвать практически любого из нас, и мы, чтобы не мешать друг другу во время работы, старались по возможности избегать скученности. В летние месяцы многие устраивались с мольбертом на просторной веранде или прямо во дворе, а некоторые предпочитали оставаться в доме и бродить с мольбертом из комнаты в комнату, следуя за изменяющимся светом. Мы с Черепахой любили работать в старой кухне, которой никто не пользовался, — просторном, похожем на сарай помещении в конце одного из крыльев дома.

Пол на кухне был земляной, но у дальней стены имелось дощатое возвышение, достаточно широкое, чтобы там поместились оба наши мольберта. Низкие потолочные балки с крюками, на которых некогда висели горшки, кастрюли и прочая кухонная утварь, а также бамбуковые полки на стенах оказались невероятно удобными для наших кистей, тряпок, баночек с красками и тому

подобного. Мы с Черепахой доверху наполняли водой старый почерневший котел, притаскивали его на свою дощатую платформу и подвешивали на старый блок примерно на высоте плеча между нами, чтобы во время работы вода была всегда под рукой.

Однажды днем мы, как обычно, работали в кухне, и Черепаха вдруг сказал:

— Извини, Оно-сан, но мне страшно любопытно, что ты сейчас рисуешь. Наверное, творишь что-то особенное?

Я улыбнулся, не отрываясь от холста.

— С чего ты взял? Я просто немного экспериментирую, вот и все.

— Нет, Оно-сан, я давно уже не видел, чтобы ты работал с такой страстью. И ты испросил уединения! А ведь ты не испрашивал уединения уже, по крайней мере, года два. С тех пор как готовил к своей первой выставке «Танец льва».

Тут, наверно, нужно пояснить: когда художник чувствует, что ему могут помешать работать всякими ненужными комментариями, советами и замечаниями, не дав даже закончить картину, он может «испросить уединения». И это будет означать, что никто не станет пытаться увидеть эту работу до ее завершения или до тех пор, по-

ка художник сам не отменит свою просьбу. Это очень разумное правило, особенно для тех условий, в каких мы жили и работали на вилле, где для десяти художников все-таки было тесновато; кроме того, оно давало возможность рисковать, пробуя новые методы работы и не боясь при этом показаться глупцом в чужих глазах.

— А что, действительно так заметно? — спросил я. — Мне казалось, я неплохо умею владеть собой.

— Ты, наверное, забыл, Оно-сан, что мы с тобой уже почти восемь лет работаем бок о бок. О да, мне заметно твое волнение, и я почти уверен, что это будет нечто особенное!

— Восемь лет? — удивленно заметил я. — Да, видимо, восемь.

— Конечно, восемь, Оно-сан. И для меня огромная привилегия — работать рядом с таким талантливым человеком, как ты. Хотя порой твои работы и заставляли меня чувствовать собственное убожество. И все-таки это большая привилегия!

— Ты преувеличиваешь, — улыбнулся я, продолжая работать.

— Ничего подобного, Оно-сан! Я уверен, что ничего не добился бы за эти годы, если бы не имел

постоянного источника вдохновения в виде твоих работ, которые рождались у меня на глазах. И ты, несомненно, заметил, чем моя скромненькая «Осенняя девушка» обязана твоей великолепной «Девушке на закате». Это всего лишь одна из многих моих попыток, Оно-сан, подражать твоему блеску. Слабая попытка, я понимаю, но все же Мори-сан был так добр, что даже похвалил мою «Девушку» и сказал, что для меня это значительный шаг вперед.

— Хотелось бы знать, — пробормотал я себе под нос, перестав водить кистью и глядя на холст, — а это тоже послужит тебе «источником вдохновения»?

Я некоторое время созерцал наполовину законченную картину. Потом посмотрел на Черепаху поверх старинного котла с водой, подвешенного между нами. Не замечая моего взгляда, он продолжал с энтузиазмом трудиться. С тех пор как мы с ним познакомились у мастера Такэды, ему удалось немного поправиться, а свойственный ему в те времена растерянно-испуганный взгляд сменился почти не сходившим с лица выражением детской радости. Кто-то, помнится, сравнил Черепаху со щенком, которого только что приласкали, и в тот день он мне действительно показался

ужасно похожим на счастливого щенка.

— Скажи, Черепаха, — спросил я, — ты сейчас вполне доволен тем, как тебе работается?

— Очень доволен, Оно-сан, спасибо тебе! — незамедлительно откликнулся он. Затем все же посмотрел на меня и, улыбаясь, торопливо прибавил: — Хотя до тебя мне, конечно, еще далеко, Оно-сан.

Он продолжал писать, и я, немного понаблюдав за ним, снова спросил:

— А тебе никогда не хотелось попробовать какие-то иные, новые методы… иной подход к живописи?

— Иной подход, Оно-сан? — переспросил Черепаха, не поднимая глаз.

— Признайся, разве честолюбие не побуждает тебя создать когда-нибудь подлинно значительное произведение? Я имею в виду не просто очередную удачную работу, которой мы тут, на вилле, будем дружно восхищаться. Я говорю о произведении, имеющем истинную, непреходящую ценность. О работе, способной стать существенным вкладом в нашу национальную культуру. Именно в этом смысле я и говорил о необходимости иного подхода к творчеству.

Говоря это, я все время внимательно смотрел на

него, но он так и не оторвал глаз от своего холста и ни на секунду не перестал писать.

— Честно говоря, Оно-сан, — сказал он, по-прежнему не глядя на меня, — человек, занимающий столь скромное положение, как я, всегда ищет каких-то новых подходов. Впрочем, за минувший год мне, кажется, удалось все же выйти на верную тропу. Видишь ли, я заметил, что в этом году Мори-сан все чаще останавливает свой благосклонный взгляд на моих работах. И я знаю: он мной доволен. И может, когда-нибудь мне даже будет позволено выставить и свои работы рядом с твоими замечательными картинами и работами самого сэнсэя. — Черепаха наконец взглянул на меня и смущенно рассмеялся. — Прости, Оно-сан, у меня, наверно, фантазия чересчур разыгралась, но такие мысли помогают мне добиваться поставленной цели.

Я решил пока оставить эту тему и попозже снова попытаться разговорить своего дружка и на этот раз добиться от него откровенности. Но события опередили меня.

Когда через несколько дней после того разговора солнечным утром я вошел на старую кухню, то сразу увидел Черепаху, который стоял на дощатом возвышении у задней стены и

в упор смотрел на меня. Очутившись после яркого света в темноватой кухне, я не сразу сумел разглядеть настороженное, почти паническое выражение у него на лице, да и руку он, как-то странно дернувшись, поднес к груди так, словно хотел защититься от удара, и опустил ее далеко не сразу. Казалось, он меня боится! Но еще более странным было то, что он и не думал устанавливать мольберт и готовиться к обычной работе. А когда я с ним поздоровался, он мне не ответил. Подойдя ближе, я спросил:

— Что-нибудь не так?

— Оно-сан… — только и вымолвил он, как-то нервно оглянувшись через левое плечо. И я, проследив за его взглядом, увидел свою незаконченную картину, прикрытую тряпицей и повернутую к стене. Черепаха нервно указал на нее и сказал:

— Оно-сан, это что, шутка?

— Нет, Черепаха, — спокойно ответил я, влезая на доски. — Никакая это не шутка.

Я подошел к картине, откинул драпировку и повернул к себе. Черепаха немедленно отвел глаза.

— Друг мой, — сказал я, — однажды ты уже проявил мужество, прислушавшись ко мне, и мы вместе сделали важный шаг в своей карьере. И

теперь я хочу снова спросить тебя: готов ли ты совершить еще один шаг вперед со мною вместе? Подумай.

Черепаха по-прежнему не смотрел ни на меня, ни на мою картину.

— Оно-сан, а наш учитель об этой твоей работе знает?

— Нет, пока не знает. Но я, пожалуй, уже мог бы ее ему показать. Начиная с сегодняшнего дня и впредь я намерен писать только в такой манере. Да посмотри же на мою картину, Черепаха! Дай объяснить, что я хотел этим выразить. А потом, возможно, мы вместе преодолеем еще одну важную ступень.

Черепаха наконец повернулся и посмотрел мне прямо в глаза.

— Оно-сан, — почти прошептал он, — ты предатель! А теперь извини меня, пожалуйста.

И с этими словами он выбежал прочь.

Картину, из-за которой Черепаха совершенно утратил душевное равновесие, я назвал «Самодовольство» и, хотя она весьма недолго оставалась в моих руках, вложил в нее столько души, что и до сих пор помню ее в мельчайших подробностях; по-моему, я вполне мог бы по памяти восстановить ее и сегодня, если б захотел. На ее

создание меня вдохновила одна уличная сценка, свидетелем которой я стал несколько раньше, гуляя по городу вместе с Мацудой.

В тот день мы, помнится, направлялись на встречу с коллегами Мацуды из общества «Окада-Сингэн», которым он давно хотел меня представить. Близился конец лета; самые жаркие дни уже миновали, но солнце все еще припекало вовсю, и я, следуя по стальному мосту за уверенно шагавшим Мацудой, без конца смахивал пот со лба и мечтал, чтобы Мацуда шел немного помедленнее. Он в тот день был в элегантном белом летнем пиджаке, а шляпу, как всегда, стильно надвинул чуточку на лоб. Шагал он быстро, но в то же время легко, без намека на спешку. А когда мы наконец остановились на середине моста, я с изумлением понял, что он, похоже, ничуть не страдает от жары.

— Между прочим, вид отсюда довольно интересный, — заметил он. — Тебе не кажется, Оно?

Вид с моста действительно открывался своеобразный: с обеих сторон громоздились мрачные стены двух предприятий, а между ними с трудом втиснулся жилой квартал — сплошное переплетение стен и крыш, крытых дешевой черепицей или рифленым железом. Район Нисидзуру и

сегодня пользуется репутацией не самого благоустроенного, а в те дни все там было несравненно хуже. Если смотреть с моста, то человеку несведущему вполне могло показаться, что домишки внизу давно заброшены и уже наполовину разрушились; но более внимательный наблюдатель мог различить многочисленные крошечные фигурки людей, деловито сновавших меж домами, как муравьи среди камней.

— Ты только посмотри, Оно, — сказал Мацуда. — И таких мест в нашем городе становится все больше и больше! А ведь каких-то два-три года назад это было не такое уж плохое местечко. А теперь здесь одни трущобы. Все больше людей разоряются, становятся нищими и вынуждены покидать родные деревни и селиться в крупных городах, пополняя армию таких же, как они сами, страдальцев.

— Как все это ужасно! — вырвалось у меня. — Хочется хоть что-нибудь для них сделать.

Мацуда улыбнулся — одной из своих высокомерных улыбок, после которых я всегда чувствовал себя полным дураком.

— Прекрасные чувства! — насмешливо заметил он, поворачиваясь к трущобам спиной. — И все мы частенько выражаем их вслух. Едва ли не на

каждом шагу. А между тем подобные поселения продолжают расти повсюду, как грибы-поганки. Потяни-ка носом как следует, друг Оно. И даже отсюда почувствуешь вонь тамошних сточных канав.

— Да, я уже заметил. Но неужели этот запах долетает сюда из такой дали?

Мацуда не ответил; он снова отвернулся и смотрел вниз; по лицу его блуждала странная улыбка.

— Политики и бизнесмены редко видят подобные места, — вновь заговорил он через некоторое время. — А если и видят, то с безопасного расстояния, как мы сейчас. Я сильно сомневаюсь, что многие из них хоть раз отважились пройтись по одному из таких кварталов. Честно говоря, сомневаюсь, что это оказалось под силу и большей части художников.

Почувствовав в его голосе вызов, я сказал:

— Я, например, не против такой прогулки, если, конечно, мы из-за этого не опоздаем к назначенной встрече.

— Напротив, мы даже километра два срежем, пройдя прямиком.

Мацуда не ошибся, говоря, что мерзкий запах исходит из сточных канав. Стоило нам спуститься

с моста и оказаться на узеньких улочках квартала, и чудовищная тошнотворная вонь окутала нас со всех сторон, поскольку в этой низине не было и намека на ветерок, способный хоть немного разогнать смрад и смягчить жару. Единственное движение в воздухе вокруг нас создавали мириады неумолчно жужжавших мух. Я снова заметил, что невольно отстаю от размашисто шагавшего Мацуды, но на этот раз у меня не возникло ни малейшего желания попросить его идти немного помедленнее.

По обе стороны от нас виднелось то, что более всего походило на те жалкие лавчонки, что можно встретить на рынке; на самом деле здесь жили люди. От улицы эти жилища отделяла порой лишь тряпичная занавеска. Кое-где на пороге сидели старики, смотревшие на нас с любопытством, но отнюдь не враждебно. Дети и кошки так и сыпались из-под ног в разные стороны. Мы продвигались, лавируя между развешанными на грубых веревках бельем и одеялами, а вокруг орали младенцы, лаяли собаки, непринужденно болтали через улицу, даже, похоже, не отдергивая занавесок, соседи друг с другом. Через какое-то время мне стало казаться, что я вижу только ужасные сточные канавы, тянувшиеся вдоль уз-

ких улочек, и полчища мух, висевшие над этими канавами. Я послушно следовал за Мацудой, но отчего-то улицы становились все уже, а расстояние между вонючими канавами все меньше, и мы шли, словно по стволу упавшего дерева, с трудом на нем балансируя. Возможно, впрочем, это мне просто мерещилось.

В итоге мы уперлись в некое подобие двора, вокруг которого толпились лачуги, совершенно перекрывая дальнейший путь. Но Мацуда, указав мне на какую-то щель между двумя хижинами, сквозь которую виднелся неприглядный пустырь, сказал:

— Если мы пройдем вон там, то, срезав угол, выйдем прямо к улице Коганэ.

Во дворе, у прохода, на который указал мне Мацуда, я заметил троих мальчишек, низко склонившихся над чем-то, лежавшим на земле, и тыкавших в этот предмет палками. Когда мы подошли ближе, они разбежались, но далеко не ушли, а кружили рядом, и физиономии у них были весьма недовольные. И хотя на земле я ничего не увидел, что-то в их поведении подсказывало мне: они мучили какое-то животное. Мацуда, похоже, пришел к тому же выводу.

— Ну что ж, чем еще им тут развлекаться, — за-

метил он.

И я почти сразу выбросил этих мальчишек из головы. А несколько дней спустя эта троица, стоявшая в грязи, размахивая палками и уставившись на нас недовольными рожами, вспомнилась мне, да так ярко, и я решил сделать фигуры этих мальчишек центральными в своей новой картине, которую назвал «Самодовольство». Должен, однако, заметить, что мальчишки на картине, которых видел Черепаха, когда в то утро он рассматривал украдкой мою незаконченную работу, отличались от своих реальных прототипов, по крайней мере, двумя важными вещами. Нет, нищие лачуги, выходившие во двор, получились у меня весьма натурально, да и лохмотья на моих героях тоже, а вот лица у них были иными; они отнюдь не казались такими смущенными и немного виноватыми, как у тех маленьких негодяев, которых мы с Мацудой застигли тогда на месте преступления. Лица мальчишек, изображенных мной на картине, искажало нечто вроде мужественного оскала воинов-самураев, готовых к битве. А потому отнюдь не случайно они застыли, подняв свои палки, как

мечи, в классических позах кэндо[10].

А на верхней половине картины, над головами мальчишек, как мог видеть Черепаха, изображение как бы плавно перетекало в другой сюжет: троих хорошо одетых толстяков, удобно устроившихся за столиком в дорогом баре и весело смеющихся. Лица мужчин выглядят типично декадентскими; они, похоже, обмениваются шутками насчет своих любовниц или чего-то в этом роде. Эти два контрастных плана объединены очертаниями береговой линии Японских островов. Внизу справа, у самого края полотна, ярко-красными иероглифами написано слово «Самодовольство», а в левом нижнем углу более мелкими иероглифами — изречение: «Но молодые готовы защищать свое достоинство в борьбе».

Описывая эту свою раннюю и, безусловно, довольно наивную работу, я понимаю, что она в какой-то степени может показаться вам знакомой. Ибо, вполне возможно, вам известна другая моя картина, «Лицом к горизонту», которая в виде эстампов в тридцатые годы получила в нашем городе известность и оказала определенное

[10] Примечания: 10

Кэндо («путь меча») — фехтовальное искусство, ведущее свою историю от самурайских боевых техник; используются бамбуковые мечи.

влияние на умонастроение людей. На самом деле «Лицом к горизонту» — это, по сути, переработка «Самодовольства», хотя и существенно от него отличается, ведь между созданием этих картин прошло немало лет. В более поздней, если помните, также использованы два контрастных образа, перетекающие один в другой и как бы связанные береговой линией Японии; вверху опять изображены трое хорошо одетых мужчин; они совещаются, нервно поглядывая друг на друга в ожидании, кто рискнет проявить инициативу, видимо, в решении важного вопроса. Думаю, нет необходимости напоминать вам, что их лица весьма похожи на лица трех известнейших политиков. Что же касается доминирующего, помещенного в нижней части картины образа, то это уже не прежние трое измученных нищетой мальчишек, а трое солдат с суровыми лицами; двое из них держат винтовки с примкнутыми штыками, а между ними стоит офицер с мечом, которым указывает им путь вперед, на Запад, в Азию. За спиной у солдат уже нет отмеченного нищетой «задника», а развевается военный флаг с восходящим солнцем. Слово «Самодовольство» в нижнем правом углу заменено словами «Лицом к горизонту», а в левом нижнем углу написано:

«Хватит трусливой болтовни! Япония должна идти вперед!»

Конечно, если вы в нашем городе недавно, то вполне могли и не видеть этой картины. Хотя вряд ли с моей стороны будет большим преувеличением, если я скажу, что подавляющему большинству тех, кто жил здесь до войны, она наверняка знакома, ибо в свое время ее действительно очень хвалили за энергичную технику и особенно за впечатляющее использование цвета. Но я, разумеется, прекрасно понимаю, что картина «Лицом к горизонту», каковы бы ни были ее художественные достоинства, по своей направленности весьма несовременна. Мало того, я, пожалуй, первым готов признать, что отраженные в ней чувства достойны скорее осуждения. Я не из тех, кто боится признать собственные ошибки, которые некогда считались большими достижениями.

Но я отнюдь не собирался разбирать здесь достоинства и недостатки картины «Лицом к горизонту». Я упомянул о ней только потому, что она, несомненно, тесно связана с той, более ранней моей работой. Ну и еще, наверное, для того, чтобы вам стало ясно, сколь сильное воздействие на всю мою последующую жизнь и карьеру

оказало знакомство с Мацудой. Я стал регулярно общаться с ним всего лишь за несколько недель до того знаменательного утра в старой кухне, когда Черепаха совершил свое «открытие». И сам факт, что я упорно продолжал с ним встречаться, свидетельствует о том, сколь притягательными для меня оказались его идеи, ведь сам-то он поначалу мне не слишком нравился. Мало того, на первом этапе наши с ним встречи чаще всего заканчивались жестокими спорами. Я помню, например, как однажды вечером — вскоре после той нашей прогулки через нищий квартал Нисидзуру — мы с ним зашли в какой-то бар в центре города. Я не помню ни названия, ни адреса бара, но сам бар помню отчетливо — темноватый, грязноватый, какие посещают обычно «низы общества». Я почувствовал себя не в своей тарелке, но Мацуду, похоже, там хорошо знали; он поздоровался с какой-то компанией, игравшей в карты, и провел меня к нише, где стоял свободный стол.

Тревога моя, помнится, стала только сильнее, когда, стоило нам сесть, два типа весьма грубой наружности и уже здорово навеселе сунулись, шатаясь, в нашу нишу. Им явно хотелось завязать с нами разговор, но Мацуда без обиняков предложил им удалиться. Я решил, что теперь-то

неприятностей нам точно не избежать, но, видно, было в моем спутнике нечто такое, отчего оба типа, мгновенно утратив былую решимость, молча ретировались.

После этого мы некоторое время спокойно беседовали и пили сакэ, но вскоре опять почему-то взялись задирать друг друга, и я, помнится, в какой-то момент заявил:

— Иногда мы, художники, действительно заслуживаем насмешек со стороны таких, как ты. Но ты, боюсь, все же ошибаешься, полагая, что все мы так уж невероятно наивны в своем отношении к реальной действительности!

Мацуда рассмеялся.

— Ты, наверно, забыл, Оно, — сказал он, — что мне приходилось встречаться с очень многими художниками. И в целом вы на редкость сильно заражены декадентством. Да и знаний о том, что творится в мире, у вас зачастую не больше, чем у ребенка.

Я уже собрался протестовать, но Мацуда продолжил:

— Возьмем, к примеру, твой последний план. Тот самый, который ты только что так серьезно излагал. Это, конечно, очень трогательно, но, ты уж извини, до предела обнажает типичную для

вашей братии наивность.

— Никак не могу понять, почему моя идея вызывает у тебя одни насмешки! — вспылил я. — Должно быть, я просто совершил ошибку, предположив, что ты способен испытывать сострадание к городским беднякам.

— Оставь свои детские упреки, Оно. Ты прекрасно знаешь, что я сочувствую этим несчастным. Но давай на минутку вернемся к твоему плану. Предположим, произошло небывалое: драгоценный сэнсэй отнесся к твоим идеям с сочувствием. Что же из этого получится? Все, кто живет на вилле, за неделю или за две создадут два или даже три десятка аналогичных полотен? Плодить больше просто не имеет смысла — вы все равно не продадите более дюжины штук. И как ты, Оно, тогда поступишь? Будешь бродить по бедняцким кварталам, имея в кошельке довольно жалкую сумму, собранную за счет тяжкого труда, и раздавать по грошу каждому встречному?

— Извини, Мацуда, но я вынужден повторить: ты глубоко заблуждаешься, представляя меня столь наивным! Я ни секунды не предполагал, что на такой выставке должны быть представлены только работы учеников Сэйдзи Мориямы. И я прекрасно понимаю, сколь чудовищная у нас

царит нищета, и нам хотелось бы хоть немного ее уменьшить. Я ведь поэтому и пришел к тебе со своим предложением. Ваше общество «Окада-Сингэн» как нельзя лучше подходит для подобных выставок. А если устраивать их регулярно, привлекая все больше участников, это наверняка позволит собрать достаточно средств и существенно облегчить участь городских бедняков.

— Извини, Оно, — улыбнулся Мацуда, качая головой, — но, боюсь, прав все же я. Вы, художники, — безнадежно наивны, вся ваша порода такова. — Он откинулся на спинку стула и вздохнул. Вся поверхность стола была уже усыпана сигаретным пеплом, и Мацуда задумчиво чертил в нем дорожки краем пустого спичечного коробка, брошенного кем-то из предыдущих посетителей. — У нас сейчас существует определенная разновидность художников, — заговорил он снова, — чей величайший талант заключается в том, чтобы всячески прятаться от реального мира. К сожалению, такие художники в настоящее время, видимо, составляют большинство, и ты, Оно, попал под влияние одного из них. Да не смотри ты на меня так сердито, это же правда! Твои знания о мире и впрямь подобны знаниям ребенка. Я,

например, сомневаюсь, сможешь ли ты сказать мне хотя бы, кто такой Карл Маркс.

Я мрачно зыркнул на него, но промолчал. Он рассмеялся:

— Вот видишь! Но ничего. Не расстраивайся. Большинство твоих коллег столь же невежественны!

— Не говори глупостей! Конечно же, я знаю, кто такой Карл Маркс!

— Да? Тогда прошу прощения. Возможно, я тебя недооценил. Пожалуйста, расскажи мне о Марксе.

Я пожал плечами и сказал:

— Ну, по-моему, он руководил русской революцией.

— А как же тогда Ленин? Или, может, Ленин был правой рукой Маркса?

— Ну да, одним из его соратников, — сказал я и, увидев, что Мацуда опять улыбается, заговорил быстрее, не давая ему перебить меня: — Хватит тебе, твои вопросы просто нелепы! Какое нам, собственно, дело до этой далекой страны? Я же вел речь о бедняках в нашем собственном городе!

— Да, Оно, это верно. Но видишь ли, ты вообще ни о чем толком не знаешь. Ты совершенно прав, предполагая, что общество «Окада-Сингэн»

испытывает желание пробудить художников и познакомить их с реальным миром. Но я, видно, когда-то ввел тебя в заблуждение, если из моих слов ты сделал вывод о том, что «Окада-Сингэн» жаждет превратиться в огромную плошку для сбора милостыни. Мы благотворительностью не интересуемся.

— Право же, не вижу ничего дурного в благотворительности. А если одновременно с благотворительностью «Окада-Сингэн» еще и глаза нам, «декадентствующим художникам», откроет, так тем лучше. Во всяком случае, мне так кажется.

— Ну, тебе-то глаза действительно открыть совершенно необходимо, раз ты, Оно, веришь, что те крохи, которые дает даже самая искренняя благотворительность, способны помочь беднякам в нашей стране. Все дело в том, что Япония неуклонно движется к кризису. Нами правят алчные бизнесмены и слабые политики, и уж они-то позаботятся, чтобы нищета в стране с каждым днем только росла. Если, конечно, мы, идущее на смену им поколение, не предпримем решительных действий. Впрочем, из меня плохой политический агитатор. Меня, Оно, волнует только искусство. И такие художники, как ты. Молодые, талантливые, которым ваш замкнутый

мирок еще не успел окончательно надеть шоры на глаза. «Окада-Сингэн» как раз и существует, чтобы помочь таким, как ты, открыть глаза и научиться создавать произведения, по-настоящему полезные для нашей страны в это трудное время.

— Прости, Мацуда, но мне сдается, если кто из нас и наивен, так это ты. Дело художника — стараться уловить красоту всюду, где он ее обнаружит. Но как бы хорошо он ни научился это делать, он все равно будет иметь крайне мало влияния на те проблемы, о которых ты говоришь. И если общество «Окада-Сингэн» действительно таково, как ты говоришь, то оно, по-моему, задумано совершенно неверно. Ибо в основе его, похоже, лежит некое наивное заблуждение насчет того, что может и чего не может искусство.

— Ты прекрасно знаешь, Оно, мы вовсе не смотрим на вещи так примитивно. Ведь «Окада-Сингэн» существует не в изоляции; повсюду — в политике, в армии — есть молодые люди, которые думают так же, как и мы. Мы и есть новое, поднимающее голову поколение. И, объединив свои силы, мы вполне способны достичь чего-то стоящего. Просто некоторые из нас неравнодушны к искусству и мечтают видеть его полностью отвечающим запросам мира сегодняшнего. Все

дело в том, Оно, что в такие времена, как сейчас, когда народ все больше нищает, когда дети повсюду вокруг болеют и голодают, художнику недостаточно укрываться в своем убежище, доводя до совершенства красоту куртизанок на своих полотнах. Я вижу, ты сердишься на меня, ищешь, как бы мне возразить, но пойми: я хочу тебе добра, Оно. И очень надеюсь, что потом ты как следует поразмыслишь обо всем этом. Ведь ты, прежде всего, очень талантливый человек.

— Но тогда скажи мне, Мацуда: как можем мы, глупые декадентствующие художники, помочь осуществлению этой твоей политической революции?

И я с раздражением увидел, что Мацуда опять пренебрежительно мне улыбается.

— Революции? Ты что, Оно! Это коммунисты хотят революции. А мы ничего подобного не хотим. Как раз напротив! Мы мечтаем о реставрации. И стремимся всего лишь к тому, чтобы его императорское величество восстановили в законных правах как главу нашего государства.

— Но наш император и так глава государства!

— Нет, в самом деле, Оно, до чего ты все-таки наивен! И в голове у тебя полная каша! — Хотя Мацуда и говорил по-прежнему совершенно

спокойно, голос его сделался жестче. — Да, император — наш законный правитель, но смотри, что происходит в действительности: власть отнята у него бизнесменами и политиками. Послушай, Оно, ведь Япония — уже не отсталая страна, населенная в основном крестьянами. Мы стали могущественным государством, способным помериться силами с любой из стран Запада. А уж в Азии Япония и вовсе выглядит великаном среди карликов и калек. И при этом мы позволяем нашему народу все глубже погружаться в отчаяние, а нашим детям — умирать от недоедания. Тогда как бизнесмены богатеют, а политики всему находят оправдания и болтают. Можешь ты представить себе, чтобы какая-то западная держава допустила подобное положение? Да они наверняка давным-давно уже начали бы действовать!

— Действовать? Какие действия ты имеешь в виду, Мацуда?

— Пора и нам ковать империю, столь же могущественную и богатую, как британская и французская. Мы должны воспользоваться своей теперешней мощью и расширить свои рубежи. Для Японии теперь самое время занять надлежащее место среди мировых держав. Поверь мне, Оно, у нас есть и силы, и средства, чтобы добиться

этого, но нам еще предстоит пробудить в себе волю к победе. И от теперешних бизнесменов и политиков тоже нужно избавиться. Тогда военные будут подчиняться только приказам его императорского величества. — Мацуда усмехнулся и бросил взгляд на переплетение линий, возникших на усыпанной сигаретным пеплом столешнице. — Но об этом в основном уже совсем другие люди должны заботиться, — прибавил он. — А такие, как мы, Оно, своей основной заботой должны сделать искусство.

Я уверен, впрочем: причина того, что Черепаха так расстроился, когда недели через две-три обнаружил на старой кухне мою новую картину, отнюдь не связана с теми глобальными проблемами, которые мы с Мацудой обсуждали в тот вечер; у Черепахи попросту не хватило бы проницательности увидеть столь многое в моей незавершенной работе. Единственное, что он наверняка сразу разглядел в ней, — это вопиющее пренебрежение основными принципами нашего учителя: отказ от всех наших коллективных попыток научиться воспроизводить на полотне зыбкий свет уличных фонарей в «веселых кварталах»; введение четкой надписи, дополнительно усиливающей воздействие картины; но более все-

го, без сомнения, Черепаху шокировала сама моя техника, активно использующая четкие линии контура, — прием, как вам известно, достаточно традиционный, но безоговорочно отвергаемый школой Мори-сана.

В общем, после той вспышки гнева у Черепахи — каковы бы ни были ее причины — я понял, что не могу более скрывать свои новые, бурно развивающиеся идеи от окружающих, и лишь вопрос времени, когда об этом узнает сам Мори-сан. Так что, когда наш с ним разговор все-таки состоялся — в беседке парка Таками, — я уже успел не раз прокрутить в голове то, что мог бы ему сказать, и сдавать свои позиции ни в коем случае не собирался.

Примерно через неделю после того разговора с Черепахой утром на кухне Мори-сан взял меня с собой в город — кажется, выбрать и заказать нужные для мастерской материалы, не помню точно. Зато я очень хорошо помню, что, пока мы занимались делами, Мори-сан вел себя со мной совершенно как обычно. Затем, ближе к вечеру, оказалось, что у нас до поезда еще есть время, и мы по крутой лестнице, находившейся прямо за железнодорожной станцией, поднялись в парк Таками.

В те времена там была одна очень симпатичная беседка; она стояла на вершине холма, и оттуда открывался чудесный вид — это примерно там, где теперь расположен мемориал мира. Но самое замечательное в этой беседке — фонарики, украшавшие свесы ее изящной крыши по всему периметру. Впрочем, в тот вечер, когда мы к ней подошли, ни один фонарик еще не горел. В беседке, размером с большую комнату, не имелось ни стен, ни перегородок, и наслаждаться открывавшимся оттуда видом мешали лишь соединенные арками столбы, поддерживавшие крышу.

Вполне возможно, что именно в тот вечер я впервые по-настоящему и открыл для себя эту беседку, и с тех пор она надолго стала моим любимым местом, пока ее полностью не разрушили во время войны, и я частенько приводил туда своих собственных учеников, когда нам случалось оказаться в этих местах. И по-моему, как раз в этой беседке перед самым началом войны мы в последний раз беседовали с Куродой, самым одаренным из моих учеников.

Ну, а в тот вечер, когда я следом за моим учителем поднялся в беседку, алые краски заката уже начинали постепенно меркнуть, и внизу, посреди беспорядочного нагромождения крыш, еще раз-

личимых в сумерках, один за другим вспыхивали огоньки. Мори-сан подошел к перилам, любуясь видом, прислонился плечом к столбу, с явным удовольствием посмотрел на небо и сказал, не оборачиваясь ко мне:

— Оно, там, в узелке, есть спички и тонкие свечи. Зажги, пожалуйста, фонарики. Я думаю, тебе понравится зрелище.

Пока я шел по кругу, зажигая один фонарик за другим, парк вокруг, притихший, точно замерший, медленно окутывала ночная тьма. Я то и дело поглядывал на неподвижный силуэт моего учителя, отчетливо видимый на фоне неба. Мори-сан по-прежнему задумчиво смотрел куда-то вдаль, и я зажег уже, по крайней мере, половину фонарей, когда вдруг услышал его голос:

— Итак, Оно, что именно так сильно тебя тревожит?

— Простите, сэнсэй?

— Утром ты вскользь упомянул, что у тебя есть какой-то повод для беспокойства.

Я усмехнулся, зажигая очередной фонарик, и беспечно заявил:

— Да это все сущая ерунда, сэнсэй! Я бы вообще не стал вас беспокоить по такому пустячному поводу, но никак не могу понять, как мне к этому

относиться. Понимаете, два дня назад я обнаружил, что некоторые мои картины кто-то унес — их нет в старой кухне, где я их обычно храню.

Мори-сан с минуту помолчал, потом спросил:

— А ты ребят спрашивал? Что они говорят?

— Спрашивал, но, похоже, никто ничего не знает. А может, они просто мне говорить не хотят.

— Ну, и к какому же выводу ты пришел? Решил, что против тебя какой-то заговор?

— Собственно говоря, сэнсэй, остальные ребята действительно вроде бы стараются меня избегать. В последние дни мне ни с кем толком и поговорить-то не удавалось. Стоит мне войти в комнату, и все умолкают или даже уходят прочь.

Мори-сан никак это не прокомментировал. Он молчал, полностью поглощенный, по-видимому, созерцанием последних отблесков заката. Я вновь занялся фонарями, и тут наконец он снова заговорил:

— Твои картины сейчас у меня, Оно. Это я их взял. Извини, если заставил тебя волноваться. Так уж получилось. В тот день у меня выдался свободный часок, и я решил этим воспользоваться и как следует рассмотреть твои недавние работы. А ты, должно быть, как раз куда-то ушел. Хотя, наверное, мне следовало сказать тебе, когда ты

вернулся. Ты уж меня извини, Оно.

— Да ничего страшного, сэнсэй. И я очень вам благодарен за интерес к моим работам.

— Ну, это же естественно, чтобы я интересовался тем, что делают мои ученики. А ты мой самый далеко продвинувшийся ученик. Немало лет я потратил, шлифуя твой талант.

— Конечно, сэнсэй! У меня просто слов не хватает, чтобы выразить вам свою благодарность.

Мы снова немного помолчали; я продолжал зажигать фонари. Потом на минутку прервал свое занятие и сказал:

— Вы знаете, сэнсэй, у меня на душе сразу легче стало, когда я узнал, что с моими работами ничего не случилось! Хотя мне следовало бы сразу догадаться, что их исчезновение объясняется совсем просто. Теперь-то, конечно, я могу быть совершенно спокоен.

Мори-сан ничего мне на это не ответил и, насколько я мог судить, продолжал любоваться окрестностями. Мне даже показалось, что он меня не расслышал, и я решил повторить чуть громче:

— Я очень рад, сэнсэй, что теперь могу быть совершенно спокоен насчет сохранности моих картин.

— Да, Оно, — сказал Мори-сан, будто отвлекшись наконец от каких-то совершенно иных мыслей. — Так вот, у меня тогда действительно появилась свободная минутка, и я попросил кого-то из ребят сходить на кухню и принести мне твои последние работы.

— С моей стороны просто глупо было так волноваться! И я ужасно рад, что с картинами ничего не случилось.

Мори-сан промолчал. Мне снова показалось, что он меня не расслышал, но он вдруг снова заговорил:

— И меня, надо сказать, несколько удивило то, что я увидел. Ты, похоже, занялся изучением жизни весьма странных мест города.

Конечно, он совсем не обязательно сказал именно так: «занялся изучением жизни весьма странных мест». Сдается, это я сам часто использую подобные выражения, особенно в последние годы; а может, этими словами я объяснялся с Куродой в этой же самой беседке спустя много лет. Но обратно же, я уверен, что Мори-сан действительно часто советовал нам «заниматься изучением жизни улиц»; я думаю, это просто еще один пример того, сколь многое я от него унаследовал. А на его тогдашнее замечание о «странных

местах города» я, помнится, ничего не ответил, лишь смущенно засмеялся и принялся зажигать очередной фонарь. И вскоре снова услышал его голос:

— Совсем неплохо, когда молодой художник понемногу экспериментирует. Помимо всего прочего, он таким вот образом дает выход некоторым своим не самым глубоким устремлениям. А выпустив пары, может потом с еще большим рвением вернуться к серьезной работе. — И, помолчав, он прибавил негромко, словно разговаривая с самим собой: — Нет, поэкспериментировать порой совсем неплохо. В юности это так естественно. И я не вижу в этом ничего дурного.

— Вы знаете, сэнсэй, — сказал я, — мне кажется, нет, я почти уверен, что мои последние работы — это лучшее из всего мной написанного.

— Да, они весьма недурны, весьма. С другой стороны, право же, не стоит слишком много времени уделять подобным экспериментам. Иначе можно уподобиться путешественнику, который только и делает, что путешествует, и никак не может остановиться. Лучше все же поскорее вернуться к серьезной работе.

Я подождал, надеясь, что он еще что-нибудь прибавит, но он молчал. И тогда я сказал:

— Я понимаю, с моей стороны глупо было так беспокоиться о сохранности этих картин. Но, видите ли, сэнсэй, этими картинами я горжусь гораздо больше, чем всеми остальными своими работами. Впрочем, мне все равно следовало догадаться, что они вовсе не пропали, а их исчезновение объясняется очень просто.

Мори-сан продолжал молчать. Я зажег очередной фонарь и посмотрел на него, но так и не сумел понять: то ли он обдумывает мои слова, то ли думает о чем-то совсем ином, далеком. В беседке царил какой-то странный смешанный свет — прощальные отблески заката на темно-синем вечернем небе смешивались со сверканием фонариков, которые я все продолжал зажигать, — однако Мори-сан по-прежнему казался мне не более чем темным силуэтом. Он так и стоял спиной ко мне, прислонившись к столбу. И вдруг, не оборачиваясь, произнес:

— Я случайно узнал, Оно, что недавно ты закончил еще одну или две картины, но их нет среди тех, которые сейчас у меня.

— Да, одну или две я действительно держал в другом месте.

— Вот как? И это, разумеется, те самые картины, которые тебе самому нравятся больше всего,

верно?

Я не ответил, а Мори-сан продолжал:

— Может быть, когда мы вернемся, ты принесешь мне и эти картины, Оно? Мне бы очень хотелось их увидеть.

Я подумал мгновение и сказал:

— Я был бы, разумеется, в высшей степени благодарен вам, сэнсэй, если бы вы высказали о них свое мнение, но я, право же, совершенно не помню, куда их засунул.

— Но ты ведь постараешься их найти, верно?

— Да, конечно, я постараюсь, сэнсэй. А заодно, наверное, унесу от вас остальные свои картины, которым вы уже уделили столько внимания. Они же вам наверняка мешают, загромождают ваше жилище, и я, как только мы вернемся, сразу же их уберу.

— Насчет этого, Оно, можешь не беспокоиться. Ты, главное, отыщи и принеси мне остальные.

— Мне очень жаль, сэнсэй, но, боюсь, остальные я все же отыскать не сумею.

— Что ж, ясно. — Мори-сан устало вздохнул, и я заметил, что он снова смотрит в небо. — Значит, ты вряд ли сумеешь принести мне остальные свои картины?

— Да, сэнсэй. Боюсь, что так.

— Ну хорошо. И ты, разумеется, уже обдумал, как поступишь в том случае, если решишь отказаться от моего дальнейшего покровительства?

— Я всегда надеялся, сэнсэй, что вы меня в любом случае поймете и не откажете мне в поддержке в отношении моей карьеры.

Он промолчал, и я, выждав некоторое время, продолжил:

— Сэнсэй, мне было бы очень тяжело и больно покинуть виллу. Годы, проведенные там, — самые счастливые, самые наполненные в моей жизни. Ваши ученики мне как братья. Ну а вы, сэнсэй… Нет, у меня просто слов не хватает, чтобы сказать, скольким я вам обязан! И я очень, очень прошу вас: взгляните еще раз на мои новые работы и постарайтесь воспринять их иначе, с иной точки зрения. И когда мы вернемся, вы, может быть, позволите мне объяснить, что я хотел сказать каждой из этих картин?

Мори-сан по-прежнему ни одним жестом не показал, что слышит меня, и я сказал:

— За эти годы я многому научился, созерцая мир удовольствий, стараясь понять и впитать в себя его хрупкую красоту. Но сейчас я чувствую, что мне пора переходить к другим вещам. Я уверен, сэнсэй, что в такие неспокойные време-

на мы, художники, должны научиться ценить нечто иное, более ощутимое и реальное, чем эти доставляющие мимолетное наслаждение вещи, которые исчезают вместе с рассветом. Вовсе не обязательно, чтобы художники существовали только в своем замкнутом декадентском мирке. Сознание, совесть подсказывают мне, сэнсэй, что я не могу вечно оставаться художником этого зыбкого мира.

Я умолк и снова занялся фонарями. На этот раз пауза несколько затянулась. Первым заговорил Мори-сан:

— Ты уже давно считаешься моим лучшим учеником, Оно. И мне будет больно расставаться с тобой. Давай договоримся так: даю тебе три дня, чтобы принести мне остальные картины. Ты их принесешь, отдашь мне и снова займешься настоящим делом.

— Я ведь уже сказал, сэнсэй: к моему глубочайшему сожалению, я не смогу принести вам эти картины.

Мори-сан как-то странно хмыкнул, точно подавляя смешок, и заметил:

— Ты правильно сказал, Оно: времена сейчас неспокойные. Особенно трудно в такие времена молодому художнику, почти не известному и

совершенно без средств. Если бы ты был менее талантлив, меня бы после твоего ухода, наверное, прямо-таки терзал страх за твое будущее. Но ты — парень умный. И, без сомнения, уже предпринял кое-какие шаги.

— По правде говоря, сэнсэй, никаких шагов я не предпринимал. Я слишком долго считал вашу виллу своим домом и никогда всерьез не задумывался о том, что это вдруг кончится.

— Вот как? Ну что ж, как я уже сказал, Оно, если бы ты был менее талантлив, у меня имелись бы причины для беспокойства. Но ты парень умный, — судя по силуэту, теперь Мори-сан стоял лицом ко мне, — и работу себе, несомненно, найдешь — будешь, скажем, иллюстрировать журналы и комиксы. Возможно, тебе даже удастся поступить на какую-нибудь фирму вроде той, где ты работал, прежде чем перебрался ко мне. Хотя это, конечно, будет означать конец твоего развития как серьезного художника, но ведь ты, несомненно, учел все.

Эти слова могут, наверное, показаться излишне безжалостными и осуждающими в устах учителя, который прекрасно знает, с каким восхищением и любовью относится к нему его ученик. С другой стороны, если учитель столько времени,

сил и средств отдал кому-то из своих учеников и, более того, — допустил, что в глазах общества имя ученика стало прочно связываться с его собственным, то, наверное, можно понять, а может быть, и извинить этого учителя, если он вдруг утратит на миг самообладание и чувство меры и совершит такой поступок, о котором, возможно, впоследствии пожалеет. И хотя всякие спекуляции насчет того, кому в действительности принадлежат созданные учеником картины, представляются, несомненно, нелепыми, все же можно понять, если учитель — а ведь именно он, в конце концов, обеспечивал ученика и красками, и холстами, и прочими необходимыми материалами — в столь острый момент вдруг забудет о том, что именно ученик имеет все мыслимые права на собственные работы.

При всем при том подобное высокомерие и проявление собственнических инстинктов со стороны учителя — каким бы знаменитым он ни был — несомненно, достойны сожаления. Я до сих пор время от времени вспоминаю то холодное зимнее утро перед самым началом войны и все усиливавшийся запах гари, когда я в сильнейшем волнении стоял у дверей дома Куроды — жалкой хижины, которую он снимал в районе Накамати.

Запах гари совершенно определенно исходил из дома, и оттуда же доносились рыдания женщины. Я несколько раз потянул за шнурок звонка, потом громко крикнул, прося меня впустить, но ответа не последовало. Потоптавшись еще немного на пороге, я все же решился войти, но стоило мне распахнуть входную дверь, как передо мной вырос полицейский в мундире.

— Что вам нужно? — сердито спросил он.

— Мне нужен господин Курода. Он дома?

— Этого жильца забрали в полицейский участок на допрос.

— На допрос?

— Послушайте, ступайте-ка вы домой, — сказал офицер. — Не то мы, пожалуй, и вас заодно проверять начнем. Нас в данный момент интересуют все близкие знакомые данного жильца.

— Но почему? Разве господин Курода совершил какое-то преступление?

— Таким, как он, тут не место! А вы ступайте, куда шли, если не хотите тоже в участок на допрос попасть.

Из дома по-прежнему доносились женские рыдания — наверное, мать Куроды, подумал я. И услышал, как на нее кричит какой-то мужчина.

— Где здесь старший офицер? — спросил я.

— Перед вами. Вы что, хотите, чтобы я вас арестовал?

— Прежде позвольте объяснить, — с достоинством заявил я, — что моя фамилия Оно. — Офицеру мое имя явно ни о чем не говорило, так что пришлось пояснить, хотя уже и не так уверенно: — Я — тот самый человек, который и передал информацию, приведшую вас сюда. Я — Мацуи Оно, художник, член Комиссии по культуре Министерства внутренних дел. А также официальный советник Комитета по борьбе с антипатриотической деятельностью. И я считаю, что в данном случае явно возникла какая-то ошибка. Короче, я хотел бы поговорить с кем-либо из ответственных лиц.

Офицер какое-то время подозрительно смотрел на меня, затем молча повернулся и исчез в доме… Впрочем, вскоре он снова вышел на крыльцо и жестом пригласил меня войти.

Я шел за ним по квартире Куроды и повсюду видел вываленное на пол содержимое комодов и шкафов. Я заметил, что некоторые книги сложены в отдельные стопки и перевязаны веревкой; а в гостиной даже татами был поднят, и какой-то офицер, светя себе фонариком, исследовал под ним половицы. Из-за перегородки отчетливо

слышались рыдания матери Куроды и крики офицера, который ее допрашивал.

Наконец меня привели на веранду, выходившую на задний двор дома. Посреди маленького дворика горел костер, у которого стояли еще один офицер в форме и какой-то человек в штатском. Тот, что был в штатском, повернулся и подошел ко мне.

— Господин Оно? — спросил он учтиво.

Сопровождавший меня полицейский, понимая, видимо, что допустил неуместную грубость, поспешно развернулся и исчез в доме.

— Что с господином Куродой? — с тревогой спросил я.

— Его увели на допрос, господин Оно. Мы о нем позаботимся, не беспокойтесь.

Я смотрел мимо него на догорающий костер. Офицер в форме ворошил палкой золу.

— Неужели вам было приказано сжечь эти картины? — возмутился я.

— Мы всегда уничтожаем материалы подрывного характера, которые не понадобятся нам в качестве улик. А улик мы собрали достаточное количество. Весь прочий мусор мы как раз и сжигаем.

— Я ведь и понятия не имел, — пробормотал я,

— что может случиться нечто подобное. Я просто предложил в комитете, чтобы кто-нибудь зашел к господину Куроде побеседовать — ради его же собственного блага. — Я не мог отвести глаз от дымящегося посреди двора кострища. — Зачем же было сжигать картины?! Ведь среди этого, как вы выражаетесь, «мусора» было немало прекрасных работ!

— Господин Оно, мы весьма благодарны вам за оказанную помощь, но теперь, когда расследование уже начато, вы должны предоставить вести его более компетентным лицам. Мы позаботимся о том, чтобы с вашим господином Куродой обошлись по справедливости.

Он улыбнулся и, вернувшись к костру, что-то сказал офицеру в форме. Тот снова ткнул палкой в догорающий костер и пробурчал себе под нос что-то насчет «всякого антипатриотического хлама».

Я точно прирос к месту и, стоя на веранде, продолжал, не веря собственным глазам, смотреть на происходящее. Но вскоре человек в штатском снова подошел ко мне и решительно заявил:

— Господин Оно, я полагаю, сейчас вам лучше вернуться домой.

— Но дело зашло слишком далеко, — возразил я.

— И скажите, почему вы допрашиваете госпожу Курода? Она-то вообще никакого отношения к данному делу не имеет!

— Дело предано в полицию, господин Оно. И вас оно больше не касается.

— Но все зашло слишком далеко! И я намерен незамедлительно обсудить это с господином Убукатой. А может быть, обращусь прямо к господину Сабури.

Человек в штатском кого-то окликнул, и из дома мгновенно появился тот самый офицер, что открыл мне дверь.

— Поблагодарите господина Оно за помощь и проводите его к выходу, — велел ему человек в штатском. Затем, снова повернувшись к костру, он вдруг закашлялся и сказал с усмешкой, отгоняя дым рукой: — Ну вот, от таких отвратительных картин даже дым отвратительный!

Впрочем, все эти события имеют, в общем, весьма косвенное отношение к тому, о чем я только что рассказывал. То есть, насколько я помню, о событиях прошлого месяца, когда моя старшая дочь Сэцуко на несколько дней приезжала к нам в гости. Точнее, я говорил о том, как во время семейного ужина мой зять Таро всех нас ужасно смешил анекдотическими историями о своих

коллегах.

Насколько я помню, обстановка за ужином была весьма приятной. Хотя каждый раз, когда Норико разливала сакэ, мне становилось неловко перед Итиро. Сначала он, правда, все поглядывал на меня через стол с заговорщицкой улыбкой, и я тоже старался улыбаться ему в ответ и вести себя как можно спокойнее. Но ужин все продолжался, а сакэ все разливали, и в итоге Итиро перестал с надеждой смотреть на меня, зато не сводил сурового взгляда со своей тетки, когда она в очередной раз наполняла наши пиалы.

Таро успел рассказать нам еще несколько забавных историй о своих приятелях с работы, когда Сэцуко заметила:

— Вы так всех нас развеселили, Таро-сан. Но я знаю от Норико, что в настоящее время ваша компания старается особенно заботиться о моральном климате среди сотрудников. И это, конечно, прекрасно — работать в такой высоконравственной атмосфере!

От этих ее слов Таро как-то сразу посерьезнел и, согласно кивнув ей, сказал:

— Это верно, Сэцуко-сан. После войны мы осуществили немало перемен, и сейчас они начинают приносить свои плоды на всех уров-

нях. В нашей компании все смотрят в будущее с большим оптимизмом. Лет через десять — если, конечно, все мы приложим максимум усилий, — название «Кей-Эн-Си» будут знать не только в каждом уголке Японии, но и во всех странах мира.

— Прекрасно! А еще Норико говорила мне, что руководитель вашего отдела — человек очень милый. От этого ведь моральный климат тоже очень даже зависит, верно?

— Вы совершенно правы. Но господин Хаясака — человек не только очень доброжелательный, но и необычайно энергичный и дальновидный. Уверяю вас, Сэцуко-сан: если у тебя некомпетентный начальник, это страшно всех деморализует, каким бы милым он ни был! Нет, нам, конечно, очень повезло, что нами руководит такой человек, как господин Хаясака!

— Как это хорошо! К счастью, и у Суйти в начальниках тоже человек очень способный.

— Правда? А впрочем, Сэцуко-сан, я ничего другого и не ожидал от такой знаменитой компании, как «Ниппон электрик»! Такой фирмой способны руководить только самые лучшие люди.

— Да, похоже, нам здорово повезло. Но я уверена, Таро-сан, то же самое можно сказать и о

фирме «Кей-Эн-Си». Суйти всегда отзывается о ней с огромным уважением.

— Извини, Таро, — встрял в разговор я, — вы в «Кей-Эн-Си», разумеется, имеете все основания для оптимизма. Но я хочу спросить тебя еще вот о чем: действительно ли все эти послевоенные чистки и перестановки на вашей фирме дали исключительно положительные результаты? Я слышал, из старого руководства там почти никого не осталось.

Мой зять задумчиво улыбнулся, затем сказал:

— Отец, я очень ценю вашу озабоченность. Молодость и энергичность действительно далеко не всегда дают только хорошие результаты. Но, говорю совершенно откровенно, общая ревизия была нам просто необходима. Мы нуждались в новых руководителях, обладающих современными взглядами, соответствующими нынешним мировым стандартам.

— Конечно, конечно. И, не сомневаюсь, ваши новые руководители — люди в высшей степени достойные и энергичные. Но скажи, Таро, разве тебя порой не тревожит, что мы иногда чересчур поспешно стремимся следовать примеру американцев? Да я сам первым проголосую за то, чтобы раз и навсегда покончить со многими стары-

ми методами! И все же иногда у меня мелькает мысль: а ведь порой вместе с отжившим свой век и никуда не годным мы выбрасываем на помойку и кое-что хорошее. Тебе так не кажется? Поистине, Япония порой напоминает мне малыша, который все подряд перенимает не у родителей, а у совершенно чужого дяди.

— Вы совершенно правы, отец. И я уверен, что кое в чем мы действительно проявляем чрезмерную поспешность. Но в целом нам есть чему поучиться у американцев. Возьмем, например, хотя бы вот что: в последние несколько лет — именно благодаря американцам — мы сделали колоссальные успехи в понимании таких вещей, как демократия и права личности. И знаете, отец, я чувствую, что в Японии наконец создан фундамент, на котором можно строить прекрасное будущее. А потому такие фирмы, как наша, и могут с полной уверенностью смотреть в завтрашний день.

— Как это верно, Таро-сан! — поддержала его Сэцуко. — И Суйти думает в точности так же. Он как раз недавно говорил, что после четырех лет полного хаоса наша страна наконец-то определила для себя перспективы.

Хотя моя дочь и обращалась к Таро, я отчетливо

почувствовал, что слова ее нацелены на меня. Таро, похоже, тоже это понял, а потому, вместо того чтобы ответить Сэцуко, продолжил свою беседу со мной:

— Всего неделю назад, отец, и впервые со дня капитуляции я присутствовал на вечере встречи моего школьного выпуска. Там собрались представители самых разных слоев общества, и все они проявляли оптимизм в оценке нашего будущего. Наверное, именно поэтому и у всех нас в «Кей-Эн-Си» такое ощущение, что дела в стране идут как надо. И хотя я полностью понимаю ваши тревоги, отец, я все же уверен: в общем и целом уроки прошлого оказались для нас полезны, ибо указали нам путь к иному, прекрасному будущему. Впрочем, возможно, я в чем-то заблуждаюсь и прошу вас, отец, в таком случае меня поправить.

— Вовсе ты не заблуждаешься, — сказал я, улыбаясь, — и у меня нет ни малейшего желания тебя поправлять. Ты совершенно прав: ваше поколение ожидает прекрасное будущее. И все вы так уверены в своих силах! Мне остается только пожелать вам успехов!

Мой зять, похоже, хотел еще что-то сказать, но тут Итиро, протянув руку через стол, в очередной раз выразительно постучал пальцем по бутылке

сакэ. Таро тут же повернулся к нему:

— Ах, Итиро-сан, вас-то нам и не хватало для нашей дискуссии! А ну-ка, скажите, кем вы станете, когда вырастете?

Мой внук некоторое время молчал, не сводя глаз с бутылки сакэ, потом недовольно глянул в мою сторону, но тут мать тронула его за плечо и шепнула:

— Итиро, дядя Таро задал тебе вопрос. Ответь ему, кем ты хочешь быть.

— Президентом «Ниппон электрик»! — громко заявил Итиро.

Мы дружно рассмеялись.

— Ну и ну! А вы уверены, что именно «Ниппон электрик», Итиро-сан? — спросил Таро. — Может быть, вам лучше возглавить нашу компанию, «Кей-Эн-Си»?

— Нет, «Ниппон электрик» — самая лучшая компания в мире!

Мы снова рассмеялись.

— Ах, как это печально для «Кей-Эн-Си»! — воскликнул Таро. — Ведь вы, Итиро-сан, — как раз такой человек, который через несколько лет нашей компании будет просто необходим!

Этот шутливый разговор, похоже, отвлек Итиро от мыслей о сакэ; он веселился вместе со всеми

и громким хохотом старательно поддерживал взрослых, стоило им начать над чем-то смеяться. И лишь под конец ужина мой внук как бы невзначай спросил:

— А что, сакэ вы уже допили?

— Да, бутылка пуста, — сказала Норико. — Но, может быть, Итиро-сан соизволит выпить апельсинового сока?

Но Итиро очень вежливо и с большим достоинством отверг данное предложение и снова повернулся к Таро, который что-то ему объяснял. Несмотря на внешнее спокойствие Итиро, я остро чувствовал, как сильно он разочарован. Меня вдруг охватило раздражение: неужели Сэцуко так трудно проявить чуть больше понимания к чувствам своего сына!

Лишь через час у меня появилась наконец возможность поговорить с Итиро наедине — когда я зашел в маленькую комнату, чтобы пожелать ему спокойной ночи. Свет у его постели еще горел, но Итиро уже лежал под одеялом на животе, сонно прижавшись щекой к подушке. Я выключил свет и обнаружил, что сквозь неплотно закрывающиеся жалюзи в комнату просачиваются лучи света из окон дома напротив. Было слышно, как в гостиной над чем-то смеются мои дочери. Я

опустился на колени рядом с Итиро, и он спросил у меня тихонько:

— Дед, а тетя Норико совсем пьяная?

— Вряд ли. Ей просто весело, вот она и смеется.

— Нет, она, наверно, все-таки пьяная. Тебе не кажется?

— Ну, может быть, совсем чуть-чуть. Хотя в этом нет ничего плохого.

— Женщины совсем не умеют пить сакэ, верно? — И он хихикнул в подушку.

Я тоже засмеялся и сказал:

— Знаешь, Итиро, ты не расстраивайся, что сегодня так получилось. Какая разница, сегодня ты попробуешь сакэ или завтра. А скоро ты станешь совсем большим и сможешь тогда пить столько сакэ, сколько захочешь.

Я встал и подошел к окну, надеясь поплотнее закрыть жалюзи. Я несколько раз раскрыл и закрыл их, но пластинки прилегали неплотно, и на стены и потолок комнаты по-прежнему падали яркие полосы света.

— В общем, Итиро, я думаю, тебе действительно не стоит огорчаться, — снова сказал я.

Он ответил не сразу. А потом вдруг прошептал:

— Это ты, дедушка, не расстраивайся.

— Я? А я-то почему, Итиро?

— Ты не расстраивайся, дед! А то будешь расстраиваться и уснуть не сможешь. Старым людям нужно как следует спать, не то они заболеть могут.

— Ах, вот оно что! Ну, тогда понятно. Спасибо за заботу. Обещаю тебе, дорогой, что ни за что не буду расстраиваться. Но и ты тоже не расстраивайся. Ведь и впрямь — из-за чего тут расстраиваться-то?

Итиро промолчал. Я предпринял еще одну попытку как следует закрыть жалюзи. Потом сказал:

— Но если бы ты, Итиро, сегодня действительно потребовал, чтобы тебе обязательно дали попробовать сакэ, то я бы взял бутылку и налил тебе капельку. И все же я думаю, что на этот раз мы с тобой правильно поступили, позволив женщинам настоять на своем. Их ведь тоже из-за пустяков не стоит расстраивать, верно?

— Иногда дома, — сказал Итиро, — папа хочет что-нибудь сделать, а мама говорит, нельзя. Иногда даже папа с мамой не может спорить!

— Вот как? — со смехом удивился я.

— Так что ты, дед, не расстраивайся.

— А нам обоим не из-за чего расстраиваться! — Я отошел от окна и снова опустился на колени

возле его постели. — А теперь, Итиро, постарайся все-таки уснуть.

— А ты, дед, останешься у нас ночевать?

— Нет, я скоро домой пойду.

— А почему ты не можешь здесь остаться?

— Здесь места мало, Итиро. Ты вспомни, какой огромный у дедушки дом, — и он там совсем один живет.

— А ты придешь завтра на вокзал нас проводить?

— Конечно приду, Итиро. Обязательно! Да и ты, конечно, вскоре снова к нам в гости приедешь.

— Ты, дед, только не расстраивайся, что не сумел уговорить маму дать мне сакэ попробовать, ладно?

— Ладно. Похоже, ты очень быстро взрослеешь, Итиро! — усмехнулся я. — Ты станешь хорошим человеком, когда вырастешь. И может быть, действительно возглавишь «Ниппон электрик». Или еще какую-нибудь такую же большую фирму. А теперь давай помолчим, и ты постараешься уснуть.

Я еще несколько минут посидел возле Итиро, тихонько отвечая ему, если он о чем-то спрашивал. По-видимому, как раз в эти минуты, ожидая, пока заснет мой внук, и прислушиваясь к взры-

вам смеха, доносившимся из соседней комнаты, я и начал перебирать в памяти подробности того разговора, что утром состоялся у нас с Сэцуко в парке Кавабэ. Такая возможность представилась мне, пожалуй, впервые за весь день, и только теперь до меня дошла вся оскорбительность слов Сэцуко. В общем, когда мой маленький внук наконец уснул и я снова вышел в гостиную, присоединившись к остальным, я был, видимо, в сильнейшем раздражении на свою старшую дочь, и это, понятно, отразилось на моем разговоре с Таро, состоявшемся, едва я уселся за стол:

— Это ведь очень странно, если задуматься: мы с твоим отцом знаем друг друга уже лет шестнадцать, но подружились только в прошлом году!

— Действительно, странно, — кивнул зять. — Но я думаю, так часто случается. Всегда бывает много соседей, с которыми только здороваешься. Вообще-то жаль, если подумать.

— Но ведь мы-то с доктором Сайто были не просто соседями, — сказал я. — Мы оба имели отношение к миру искусства и прекрасно знали о репутации друг друга. И тем более жаль, что ни он, ни я с самого начала не предприняли никаких попыток познакомиться поближе. А ты что об этом думаешь, Таро?

И я бросил взгляд на Сэцуко, желая убедиться, что она слушает.

— Да, действительно очень жаль, — согласился Таро. — Но, в конце-то концов, вам все-таки удалось стать друзьями, верно?

— Но я-то хотел сказать, Таро, вот о чем: особенно обидно, что мы не подружились раньше, именно потому, что все это время мы были полностью осведомлены о месте другого в мире искусства.

— Да, это вот действительно жаль, — повторил Таро — Казалось бы, если двое соседей — коллеги и к тому же люди достаточно известные, то между ними непременно должны возникнуть близкие отношения. Но очень часто так не выходит — оттого, видимо, что жизнь сейчас такая суматошная, все по горло заняты своими проблемами.

Я с некоторым удовлетворением посмотрел на Сэцуко, однако дочь моя абсолютно ничем не показала, что понимает важность слов Таро. Впрочем, она, возможно, и вовсе нас не слушала; хотя мне лично показалось, что не только внимательнейшим образом слушала, но и все поняла и просто из гордости не пожелала поднять на меня глаза, получив подтверждение того, как сильно

перестаралась со своими инсинуациями сегодня утром в парке Кавабэ.

А утром, как я уже рассказывал, мы с ней неторопливо брели по широкой центральной аллее парка, наслаждаясь красотой осенних деревьев, беседовали о том, как Норико привыкает к супружеской жизни, и единодушно пришли к выводу, что, судя по всему, она действительно вполне счастлива.

— До чего же это приятно! — воскликнул я. — А ведь я уже начал всерьез тревожиться насчет ее будущего. Зато теперь, похоже, все у нее складывается как нельзя лучше. Таро — прекрасный человек. Вряд ли можно было надеяться отыскать ей лучшего супруга.

— Да, просто невозможно себе представить, — с улыбкой кивнула Сэцуко, — что всего год назад мы так из-за нее беспокоились!

— Но все получилось просто отлично! И знаешь, Сэцуко, я очень благодарен тебе за помощь и участие. Ты оказала сестре неоценимую поддержку, когда все складывалось не так хорошо.

— Да что ты, папа! Моя-то помощь как раз была очень мала, ведь живу я так далеко от вас!

— И за совет тебе тоже спасибо, — рассмеялся я. — Помнишь, как в прошлом году ты завела разго-

вор насчет «превентивных мер»? Как видишь, я этим твоим советом не пренебрег.

— Извини, папа, каким советом?

— Ну ладно, Сэцуко, я и так знаю, что ты — девочка тактичная. И прекрасно понимаю, что в моей карьере имелись определенные аспекты, гордиться которыми мне нет причин. Да я, собственно, почти все свои ошибки открыто признал — во время «миаи», как ты и предлагала.

— Извини, папа, но я никак не пойму, о чем ты?

— Разве Норико не рассказывала тебе, как прошли ее смотрины? Именно в тот вечер я решил приложить все усилия, чтобы то, что касается моей личной карьеры, больше никогда не служило препятствием на ее пути к личному счастью. Должен заметить, что поступил бы так в любом случае, но все же спасибо тебе за совет, который ты дала мне в прошлом году.

— Прости, папа, но я не помню, чтобы в прошлом году я давала тебе какие-то советы. О том, как прошли смотрины, Норико мне действительно не раз рассказывала. Мало того, она написала мне сразу же после «миаи», потому что ее страшно удивило то, что ты, папа, сказал в тот вечер… о себе самом.

— Ну да, наверное, ее это удивило. Норико ведь всегда недооценивала своего старого отца. Но я отнюдь не принадлежу к тому сорту людей, которые способны позволить родной дочери страдать только потому, что из гордости не желают признавать собственные ошибки.

— Норико писала, что в тот вечер ты, папа, всех просто озадачил своим поведением. Не только ее, но и всех Сайто. И никто так толком и не понял, что именно ты хотел сказать. Суйти тоже выразил недоумение, когда я прочитала ему письмо Норико.

— Нет, это просто удивительно! — со смехом воскликнул я. — Как же так? Ведь ты, Сэцуко, сама в прошлом году подталкивала меня к подобному шагу, намекая на необходимость «предварительных мер», чтобы мы не споткнулись с Сайто, как до того с Миякэ. Разве ты не помнишь?

— Я действительно стала ужасно забывчивой и боюсь, папочка, что совершенно не помню, что я там такое тебе говорила.

— Но, Сэцуко, этого же просто не может быть!

Сэцуко вдруг остановилась и воскликнула:

— До чего все-таки прекрасны осенью клены!

— Да, детка, — сказал я. — А чуть позднее они будут еще красивее.

— Они и сейчас просто потрясающие! — улыбнулась моя дочь, и мы с ней пошли дальше. Она довольно долго молчала, потом вдруг сказала: — Между прочим, папа, мы вчера вечером болтали с Таро о разных вещах, и он совершенно случайно упомянул о каком-то разговоре, который вы с ним вели как раз на прошлой неделе. О том композиторе, что недавно с собой покончил.

— Юкио Нагути? Да-да, я припоминаю этот разговор. И мне показалось, что Таро считает самоубийство этого человека бессмысленным.

— Таро-сан просто немного встревожило то, что ты, папа, чересчур близко к сердцу принимаешь смерть господина Нагути и, мало того, даже проводишь некую параллель между его карьерой и своей собственной. Да и все мы тоже встревожились, когда услышали об этом. Откровенно говоря, папа, в последнее время, особенно после твоего выхода на пенсию, нас несколько беспокоит, что ты так часто бываешь в каком-то подавленном настроении. Я засмеялся:

— Ну, так успокойтесь! Поверь, Сэцуко, мне ни на секунду даже в голову не приходило совершить то, что совершил господин Нагути.

— Насколько я понимаю, — продолжала Сэцуко, — песни господина Нагути становились все

более популярными в нашей стране с каждым новым витком милитаризации. Видимо, именно потому он полагал, что просто обязан разделить ответственность за эту войну с генералами и политиками. Только ты, папа, ошибаешься, если и тебе в голову хотя бы иногда приходят подобные мысли. Ты ведь, в конце концов, был художником.

— Позволь мне еще раз заверить тебя, Сэцуко: я никогда не задумывался о возможности для себя такого поступка, какой совершил Нагути. Но в то же время я и не слишком горжусь тем, что, будучи тогда человеком тоже до некоторой степени влиятельным, использовал свое влияние в целях, имевших поистине ужасный конец.

Дочь, похоже, задумалась над моими словами. Помолчав, она сказала:

— Прости, папа, но все-таки, наверное, важно смотреть на определенные вещи под правильным углом зрения. Ты, папа, написал несколько замечательных картин и, несомненно, считался в свое время одним из наиболее известных и влиятельных художников. Но твои работы, папа, вряд ли имеют отношение к тем куда более сложным вещам, о которых мы только что говорили. Ты художник, ты просто изображал окружающую тебя

действительность. И должен перестать думать о том, что при этом совершал какие-то страшные ошибки.

— Ну, Сэцуко, этот твой совет совершенно непохож на прошлогодний. Тогда, кажется, ты возлагала ответственность за все на мое прошлое.

— Прости, папа, но я могу лишь повторить: я совершенно не понимаю твоих намеков по поводу того, что произошло в прошлом году на смотринах Норико. Честное слово, для меня просто тайна — какое отношение твоя, папа, карьера должна была иметь к брачным переговорам. Во всяком случае, никого из семейства Сайто этот вопрос, по-моему, совершенно не тревожил, но, как мы с Норико и говорили тебе, их всех весьма озадачило твое неожиданное выступление во время «миаи».

— И это в высшей степени удивительно! Дело в том, Сэцуко, что мы с доктором Сайто знакомы очень давно. И он, будучи одним из самых известных критиков-искусствоведов, наверняка имел представление о том, как в те годы развивалась моя карьера и каковы наиболее прискорбные ее аспекты. А потому — в связи с грядущими событиями — я счел честным и справедливым

полностью прояснить свое отношение к некоторым своим деяниям прошлого. И я абсолютно уверен: доктор Сайто высоко оценил этот мой поступок.

— Извини, но, судя по тому, что сказал мне Таро-сан, доктор Сайто никогда ничего толком не знал о том, как ты строил свою карьеру. Он, разумеется, всегда знал, что ты, папа, его сосед. Но, похоже, до прошлого года и понятия не имел, что ты вообще имеешь какое-то отношение к миру искусства, — во всяком случае, до тех пор, пока вы не начали брачные переговоры.

— А вот тут ты глубоко заблуждаешься, Сэцуко, — усмехнулся я. — Мы с доктором Сайто друг о друге знали давно и частенько, встретившись на улице, обменивались новостями, касавшимися как раз мира искусства.

— Ну, тогда я, конечно же, ошибаюсь. Прости, папа. И все-таки мне очень хотелось бы подчеркнуть, что никто и никогда не рассматривал твое, папа, прошлое с позиций обвинения. И мы все очень надеемся, что ты перестанешь наконец думать о себе так, как некоторые люди вроде того несчастного композитора.

Я не стал настаивать на продолжении этого спора. Помнится, мы с Сэцуко вскоре принялись

обсуждать какие-то повседневные вопросы. И все же моя дочь, несомненно, серьезно заблуждалась относительно того, о чем говорила со мной в то утро. Совершенно невозможно, например, чтобы доктор Сайто все эти годы действительно ничего не знал о моей репутации как художника. И когда я в тот вечер, после нашего семейного ужина, попытался заставить Таро хотя бы косвенно подтвердить мою правоту, то затеял это исключительно ради Сэцуко; ведь сам я никаких сомнений на сей счет никогда не имел. И я отлично помню тот солнечный день, лет шестнадцать назад, когда я как раз поправлял изгородь возле нашего нового дома, а доктор Сайто остановился рядом со мной и, прочитав мою фамилию на стойке ворот, сказал: «Для нас большая честь иметь в соседях такого знаменитого художника, как вы». Я совершенно отчетливо помню эту встречу. Нет, Сэцуко, конечно же, ошибается.

Июнь, 1950

Вчера утром, получив известие о смерти Мацуды, я приготовил себе легкий ланч и вышел прогуляться.

Денек выдался приятно теплый; я спустился к подножию холма, ступил на Мост Сомнений и огляделся. Небо сияло чистой синевой, а невдалеке, на берегу реки, примерно там, где начинались новые кварталы многоквартирных домов, я увидел двух маленьких мальчиков с удочками и некоторое время наблюдал за ними, одновременно прокручивая в голове печальное известие о смерти Мацуды.

С тех пор как мы с ним восстановили отношения — во время переговоров по поводу брака Норико, — я намеревался почаще наведываться к нему, однако мне удалось снова выбраться в Аракаву лишь где-то с месяц назад. Решение поехать к Мацуде возникло у меня абсолютно спонтанно; я и понятия не имел в то время, как близок его конец. Возможно, Мацуда умер чуть более счастливым, оттого что сумел в тот день поделиться со мною своими мыслями.

Я приехал к нему около полудня. Госпожа Судзуки сразу меня узнала и, немного волнуясь, повела в дом. Это наводило на мысли о том, что гости у Мацуды, с тех пор как я полтора года назад заезжал к нему, бывали нечасто.

— Он сейчас гораздо крепче, чем когда вы его в прошлый раз видели, — радостно заверила меня госпожа Судзуки.

Она проводила меня в гостиную, и через несколько минут туда совершенно самостоятельно вошел Мацуда, одетый в свободное кимоно. Он был явно рад меня видеть. Какое-то время мы говорили о всяких пустяках и общих знакомых, и лишь когда госпожа Судзуки принесла нам чай, после чего тактично удалилась, я вспомнил, что нужно поблагодарить Мацуду за теплое, полное сочувствия письмо, которое я получил от него во время своей недавней болезни.

— Ты отлично выглядишь, Оно! Похоже, ты совсем поправился, — заметил он. — Глядя на тебя, и не подумаешь, что совсем недавно ты серьезно хворал.

— Да, сейчас я значительно лучше себя чувствую, — кивнул я. — Но мне велели быть осторожным, не переутомляться и повсюду ходить только с палкой. А в остальном я так же здоров,

как раньше.

— Ну, Оно, ты совсем меня разочаровал! Я-то думал, что мы с тобой, два старичка, всласть побеседуем о своих недугах. А ты вон какой! В точности как в прошлый раз, ни капли не изменился! Что ж, мне остается только смотреть на тебя да здоровью твоему завидовать.

— Чепуха, Мацуда! Ты очень хорошо выглядишь.

— Нет уж, в этом-то тебе вряд ли удастся меня убедить! — возразил он со смехом. — Хотя за этот год я действительно немного прибавил в весе. Ты лучше расскажи: счастлива ли Норико-сан? Я слышал, что свадьба ее прошла вполне успешно. А ведь когда ты в последний раз приходил сюда, то очень о ней тревожился.

— Да, все сложилось на редкость удачно. И к осени Норико уже ждет ребенка. После стольких треволнений жизнь ее складывается пока удивительно хорошо. Я и надеяться на такое не мог.

— Ты, значит, к осени внука получишь? Что ж, такого события, должно быть, ждут с особым нетерпением.

— Между прочим, — заметил я, — моя старшая дочь тоже через месяц рожать собирается — второго уже. Она давно очень хотела второго

ребенка, так что для всех нас это событие будет особенно приятным.

— Да уж, двое внуков, которых ждут с нетерпением… — Мацуда немного помолчал, улыбаясь и кивая, словно в подтверждение собственных мыслей. Потом вдруг сказал: — Ты, Оно, конечно, помнишь, я всегда был слишком занят проблемами улучшения нашего мира, чтобы подумать о женитьбе. Припоминаешь наши споры перед тем, как вы с Митико-сан поженились?

Мы оба засмеялись.

— Двое внуков! — повторил Мацуда. — Да уж, тебе есть ради чего жить.

— Это правда. И с дочерьми мне очень повезло.

— А скажи, ты живопись-то не совсем еще забросил?

— Ну, иногда пишу — так, акварельки, чтобы время провести. В основном растения, цветы. Для собственного развлечения.

— И все-таки хорошо, что ты снова за кисть взялся! Когда мы виделись в последний раз, мне показалось, что ты бросил живопись навсегда. И полностью в ней разочаровался.

— Так и было. Я ведь действительно долгое время даже не брал в руки кисть.

— Да, Оно, ты, похоже, тогда не только в жи-

вописи разочаровался, но и все свои прежние иллюзии утратил. — Мацуда вдруг улыбнулся и посмотрел на меня. — А ведь когда-то тебе ужасно хотелось внести свой весомый вклад в общее дело.

Я тоже улыбнулся и сказал:

— Но ведь и тебе, Мацуда, этого хотелось. И ты ставил перед собой не менее высокие цели. В конце концов, ведь именно ты сочинил тот манифест для антикитайской кампании. И вряд ли он отражал самые скромные из наших надежд.

Мы снова немного посмеялись.

— А ты помнишь, Оно, как я называл тебя наивным? Как издевался над узостью твоего кругозора? А как ты сердился на меня, помнишь? Что ж, похоже, широты кругозора нам обоим тогда не хватало.

— Да, наверное. Но если бы тогда мы видели вещи более ясно, то такие, как мы с тобой, Мацуда… Кто знает? Возможно, нам удалось бы совершить что-то действительно хорошее. У нас ведь всего хватало — и сил, и смелости, и куража. Нет, правда, все это у нас было в избытке, иначе мы не смогли бы руководить той кампанией по созданию Новой Японии, помнишь?

— Конечно помню. Хотя тогда у нас и против-

ники имелись весьма могущественные. Вполне можно было самообладание утратить. И больше всего, наверное, нам помогала наша безоглядная решимость.

— Хотя я, например, довольно плохо себе в целом все это представлял. Страдал «узостью кругозора», как ты говоришь. Да и сейчас мне, пожалуй, сложно представить себе тот мир, что простирается за пределами нашего города.

— А мне сейчас, — подхватил Мацуда, — сложно представить себе даже тот мир, что простирается за пределами моего сада. Так что сейчас у тебя, Оно, кругозор куда шире, чем у меня.

Мы еще посмеялись, и Мацуда, сделав глоток чая, сказал:

— Впрочем, не стоит понапрасну винить себя. Ведь мы тогда действовали во имя того, во что свято верили, и отдавали этому все свои силы. Вот только выяснилось под конец, что люди-то мы — самые обыкновенные, не слишком проницательные. Нам просто не повезло, Оно, что мы с тобой оказались всего лишь обыкновенными людьми во время таких необыкновенных событий.

Чуть раньше Мацуда упомянул о своем саде, и мысли мои невольно потекли в этом направ-

лении. Стоял теплый весенний день, и госпожа Судзуки приоткрыла двери, ведущие на веранду. Со своего места я мог видеть яркие солнечные блики на полированных досках веранды. Нежный ветерок, залетавший в гостиную, приносил слабый запах дыма. Я встал и еще шире раздвинул двери.

— Запах гари по-прежнему будит в моей душе тревогу, — заметил я. — Еще совсем недавно он означал бомбежки и пожары. — Я помолчал, глядя в сад, потом прибавил: — Через месяц уже пять лет, как нет Митико.

Мацуда ответил не сразу. Потом тихо промолвил:

— Но сейчас запах гари обычно означает, что кто-то из соседей приводит в порядок свой сад.

Где-то в глубине дома пробили часы.

— Пора карпов кормить, — сказал Мацуда. — Знаешь, сколько мне пришлось спорить с госпожой Судзуки, прежде чем она опять разрешила мне самому кормить карпов! Раньше-то я всегда это сам делал, но несколько месяцев назад очень неудачно споткнулся о камень в саду, и она мне запретила. Вот и пришлось с нею спорить.

Мацуда поднялся и, сунув ноги в плетенные из соломы сандалии, вышел на веранду. Мы вместе

спустились в сад и потихоньку направились в его дальний конец, к пруду, на поверхности которого играли солнечные зайчики, осторожно двигаясь по выложенной камнями тропке, бегущей посреди поросших мхом кочек.

Глядя в темно-зеленую воду, мы вдруг услышали какой-то странный звук, заставивший нас обоих поднять голову. Поверх ограды на нас с веселым видом взирал мальчонка лет четырех-пяти, взобравшийся на дерево и обеими руками крепко державшийся за ветку. Мацуда улыбнулся и крикнул ему:

— Привет, Ботян!

Мальчик еще некоторое время продолжал наблюдать за нами, потом вдруг исчез. Мацуда снова улыбнулся и принялся кормить карпов.

— Это соседский мальчик, — сказал он. — Каждый день в это время он взбирается на дерево, чтобы посмотреть, как я буду рыбок кормить. Только он очень застенчивый и каждый раз убегает, когда я пытаюсь с ним поговорить. — Мацуда усмехнулся, как бы про себя. — Я часто задаю себе вопрос: зачем он каждый день прилагает столько усилий, забираясь на дерево. Ведь ничего особенного он тут не видит. Всего лишь старика с палкой на берегу пруда, который кормит карпов. Хотел

бы я знать, чем привлекает его это зрелище?

Я оглянулся на ограду, над которой всего несколько мгновений назад виднелось детское личико, и сказал:

— Ну что ж, зато сегодня его ожидал сюрприз: на берегу пруда он увидел сразу двух стариков с палками.

Мацуда рассмеялся счастливым смехом, продолжая бросать в воду корм. Два или три великолепных карпа всплыли к поверхности, их чешуя заискрилась в солнечных лучах.

— Армейские офицеры, политики, бизнесмены, — заговорил вдруг Мацуда. — Да, их всех сочли виновными в том, что случилось с нашей страной. А что касается таких, как мы с тобой, Оно, то наш вклад всегда считался несущественным. И теперь никому нет дела до того, чем занимались когда-то такие, как мы. В нас видят всего лишь двух стариков с палочками. — Он улыбнулся мне, продолжая кормить рыб. — Так что мы теперь единственные, кому наше прошлое небезразлично. Когда такие, как мы с тобой, Оно, оглядываясь назад, видят, что многое в их жизни было неправильным, это заботит сейчас только их самих.

Но, даже произнося столь горькие слова, Мацуда в тот день держался так, что никак нельзя

было даже предположить, будто человек этот полностью разочарован в жизни. Да у него и не было причин перед смертью испытывать подобное разочарование. Оглядываясь назад, он, наверное, видел, что не все в его жизни шло так, как надо, но он, несомненно, видел и то, чем с полным правом мог гордиться. Ибо, по его же собственным словам, такие, как он и я, испытывали удовлетворение, понимая: все, что мы когда-то совершили, мы совершили во имя того, во что свято верили. Мы, конечно, отважно шли со своими идеями напролом, но это достойнее, чем не рискнуть подвергнуть свои убеждения проверке жизнью — из-за нехватки воли или мужества. Если твои убеждения достаточно глубоки, наступает момент, когда становится просто постыдно уклоняться от действий. Я уверен, что и Мацуда, вспоминая прошлое, рассуждал примерно так же.

Одно событие из своего прошлого я вспоминаю особенно часто — это случилось в мае тридцать восьмого, вскоре после того, как меня наградили премией Фонда Сигэты. К этому времени я успел получить уже немало различных премий и почетных званий, но, по мнению многих, премия Фонда Сигэты — важнейшая веха на творческом

пути любого художника. Кроме того, помнится, на той же неделе мы с большим успехом завершили свою кампанию по созданию Новой Японии, так что было много поводов для празднования. Я сидел в «Миги-Хидари», окруженный учениками и коллегами, и, совершенно размягченный выпивкой, одну за другой слушал хвалебные речи в свой адрес. В тот вечер в «Миги-Хидари» собралось невероятное множество людей, желавших меня поздравить; помнится, даже начальник полиции, с которым я и знаком-то не был, зашел, чтобы засвидетельствовать мне свое почтение. Как ни странно, чувствуя себя совершенно счастливым, я не испытывал особого торжества и удовлетворения от присужденной мне награды. Эти чувства мне довелось испытать лишь несколько дней спустя, когда я оказался за городом, в холмистой местности провинции Вакаба.

Я не был там лет шестнадцать — с того самого дня, когда покинул виллу Сэйдзи Мориямы, исполненный решимости и одновременно тревоги — ведь будущее ровным счетом ничего мне пока не сулило. В течение последующих лет, хоть я и не имел с Мориямой никаких официальных контактов, я все же постоянно интересовался его жизнью, а потому знал, что его репутация как

художника постепенно сходит на нет. Все его попытки привнести европейское влияние в традицию Утамаро в итоге стали восприниматься как исключительно непатриотические; и хотя время от времени он все же с трудом выставлял свои работы, но в местах все менее и менее престижных. И я уже от многих слыхал, что на жизнь он давно зарабатывает, иллюстрируя популярные журналы. Можно было, впрочем, не сомневаться, что и Морияма все это время внимательно следил за моей карьерой и наверняка знал, что я стал лауреатом премии Фонда Сигэты. Вот тогда-то, сойдя с поезда на деревенской станции Вакаба, я особенно остро ощутил все произошедшие с нами перемены.

Итак, солнечным весенним днем я шел знакомой, поросшей лесом горной тропой к вилле своего бывшего учителя. Я не торопился, наслаждаясь прогулкой по тем местам, которые некогда знал так хорошо. И всю дорогу пытался представить себе, как встретит меня Мори-сан, если доведется столкнуться с ним лицом к лицу? Возможно, он примет меня как почетного гостя или же, напротив, будет держаться холодно и отчужденно, как в те последние дни, что я провел у него на вилле. С другой стороны, Мори-сан вполне

способен повести себя со мной так же, как и в те времена, когда я был его любимым учеником, будто никаких особых перемен в наших статусах не произошло. Последний вариант его поведения казался мне наиболее вероятным, и я, помнится, стал размышлять, как же мне самому в таком случае вести себя. Я решил не возвращаться к старому почтительному обращению «сэнсэй». Нет, лучше вести себя так, словно мы просто коллеги. А если он вздумает упорствовать в непризнании моего нынешнего положения, то я с дружеской улыбкой скажу ему что-нибудь эффектное вроде: «Вот видите, Мори-сан, мне отнюдь не пришлось всю жизнь иллюстрировать комиксы, как вы когда-то боялись!» Обнаружив, что тропа уже привела меня к тому месту, откуда открывался прекрасный вид на виллу, окруженную деревьями, я остановился, как, бывало, делал это прежде, наслаждаясь этим удивительным зрелищем. Дул свежий ветерок, и внизу, в лощине, слегка качались верхушки деревьев. Я попытался разглядеть, отреставрирована ли вилла, но с такого расстояния с уверенностью определить это было невозможно.

Я уселся в густую траву, продолжая любоваться старым домом в лощине. В станционном ларь-

ке я купил апельсины и теперь, доставая их из узелка, поедал один за другим. И вот именно в эти минуты, когда я сидел там, глядя вниз на виллу и наслаждаясь вкусом свежих апельсинов, я вдруг почувствовал, как меня охватывает долгожданное чувство — одержанной победы и удовлетворения. Трудно описать его точнее, ибо оно не походило ни на пьянящий восторг, ни на обжигающее возбуждение, которое порой охватывает тебя, даже если победа твоя не так уж и велика. Но испытываемое мною чувство полностью отличалось от того, что я, вполне счастливый, переживал во время пирушки в «Миги-Хидари». Там, на холме, меня все сильнее охватывало ощущение какого-то всеобъемлющего счастья, проистекавшее, видимо, из твердой уверенности в том, что все мои усилия наконец-то себя оправдали; что годы тяжкого труда, мучительные, но преодоленные сомнения — все это было не зря; что в результате я достиг чего-то действительно значимого и высоко оцененного всеми. В тот день я так и не пошел дальше; я больше ни на шаг не приблизился к вилле своего бывшего учителя — это казалось мне совершенно бессмысленным. Я просто сидел, наверное, не менее часа, поедая апельсины, ощущая глубочай-

шее удовлетворение и покой.

Мне кажется, подобные чувства дано испытать немногим. Такие, как Черепаха или Синтаро, сколько угодно могут брести своей колеей, компетентные и безобидные, но никогда не познать им той радости, которую испытал я в тот день. Ибо таким людям неведомо желание рискнуть всем ради того, чтобы подняться над посредственностью.

А вот Мацуда — дело другое. Хотя мы с ним часто ссорились, наши взгляды на жизнь практически совпадали, и я уверен: у него в жизни тоже были один-два подобных момента. Да, я совершенно уверен, он думал о том же, что и я, когда во время нашей последней встречи сказал мне с мягкой улыбкой те слова: «Ведь мы тогда действовали во имя того, во что свято верили, и отдавали этому все свои силы». Ибо, даже если человек впоследствии и приходит к переоценке своих былых достижений, для него утешительно знать, что раз или два в жизни его случались такие вот мгновения истинного счастья, истинного удовлетворения — такого, как я испытал в тот день на горной тропе.

Вчера утром, постояв на Мосту Сомнений и думая о Мацуде, я потихоньку двинулся даль-

ше, туда, где когда-то находился наш «веселый квартал». Теперь там все перестроено и стало совершенно неузнаваемым. Узкая людная улочка, что раньше пересекала квартал из конца в конец, вся увешанная рекламными щитами и полотняными вывесками различных заведений, теперь превратилась в широкую асфальтированную магистраль, по которой день и ночь снуют тяжелые грузовики. На месте бара госпожи Каваками высится четырехэтажное здание какого-то офиса со стеклянным фасадом. И по соседству с ним такие же большие дома. Целый день там царит суета, чиновники и курьеры так и снуют из одной двери в другую. Теперь там не сыщешь ни одного бара до самой Фурукавы. Но кое-где можно еще обнаружить то кусочек знакомой ограды, то старое дерево, и все эти приметы прошлого кажутся странно не соответствующими новой обстановке.

Там, где когда-то стояло «Миги-Хидари», теперь просторный двор, куда выходят двери сразу нескольких офисов, расположенных в глубине. Кое-кто из чиновников рангом повыше оставляет машину во дворе, но в основном двор пуст; это просто заасфальтированная площадка, на которой кое-где торчат молодые деревца. Ближе

к проезжей части стоит обыкновенная парковая скамейка. Для кого ее там поставили, не знаю, я ни разу не видел, чтобы хоть кто-то из служащих присаживался на нее отдохнуть. Но мне почему-то кажется, что скамейка эта стоит примерно на том месте, где когда-то был наш столик в «Миги-Хидари», и я люблю иногда посидеть на ней, хотя она, возможно, и не предназначена для прохожих. Но она стоит рядом с тротуаром, и никто ни разу не сказал мне, что сидеть здесь нельзя. Вчера утром приятно пригревало солнце, и я снова присел на эту скамью и некоторое время любовался кипевшей вокруг меня новой жизнью.

Видимо, близилось время обеденного перерыва, ибо целые толпы служащих в ярко-белых рубашках без пиджаков вытекали из недр того офиса со стеклянным фасадом, что построили на месте бара госпожи Каваками. Меня поразило, сколько оптимизма и энтузиазма источают эти молодые люди. Вот двое из них, выйдя из здания, остановились поговорить с третьим, который как раз собирался войти в здание. Они стояли на ступенях крыльца перед стеклянным фасадом и весело чему-то смеялись, а солнечный свет так и играл на их лицах. Один из них, стоявший лицом ко мне, смеялся как-то особенно радостно и

открыто, как ребенок. Затем, приветливо махнув друг другу, трое коллег расстались и отправились по своим делам.

Я улыбнулся про себя, наблюдая за этими молодыми служащими. Конечно, когда я вспоминаю прежние ярко освещенные бары и всех тех, кто там обычно собирался, разговаривая и смеясь, возможно, несколько громче, чем те воспитанные молодые люди, которых я видел вчера, но не менее добродушно, я испытываю некую ностальгию — по ушедшему, по нашему старому «веселому кварталу». И все же меня очень радует то, как быстро отстраивается и восстанавливается наш город. Похоже, какие бы ошибки наш народ ни совершил в прошлом, теперь он обрел еще один шанс изменить свою жизнь к лучшему. Так что этим молодым людям можно только пожелать успехов.

Kazuo Ishiguro
AN ARTIST OF THE FLOATING WORLD
1986